



С. Дурылин

Вс. М. Гаршин

Из записок биографа

Предисловие

В 1905 году я начал собирать материалы для биографии В. М. Гаршина. Тогда были живы еще многие родственники, друзья, школьные товарищи и литературные сверстники В. М. Гаршина, и я получил, в той или иной форме, отклик на свои обращения¹ от Н. М. Гаршиной, Е. М. Гаршина, А. В. Гаршиной, В. М. Золотиловой, Л. Н. Толстого, С. А. Толстой, Вл. Г. Короленка, И. Е. Репина, Н. С. Русанова, М. Е. Малышева, В. Г. и А. К. Чертковых, И. И. Горбунова-Посадова, Б. Г. Успенского, П. Ф. Якубовича, П. И. Бирюкова и многих других.

По разным причинам мне не довелось дописать моей книги. Отдельные ее части, в том или другом виде, появились в разное время в печати². Выпускаемое в наше время Ю. Г. Оксманом «*Полное собрание сочинений Гаршина*» явится драгоценной основой для будущего биографа Гаршина, и, надо думать, появление научной марксистской биографии Гаршина не замедлит.

¹ В 1909 году в «*Русских ведомостях*», «*Речи*» и многих других газетах было напечатано мое воззвание к знавшим Гаршина, с просьбой о присылке материалов для моей книги, издание которой было намечено издательством «*Посредник*».

² Вот некоторые из этих кусков недописанной книги, редактированные сообразно с задачами тех изданий, в которых они печатались: 1) «*Писатель праведник*» («*Свободное воспитание*» 1908, март); 2) «*Детские годы Гаршина*». Биографический очерк, М. 1910; 3) «*Погибшие произведения Гаршина*» («*Русские ведомости*» 1913, № 70, 25 марта); 4) «*Из жизни Гаршина*» («*Маяк*» 1913, № 3); 5) «*Гаршин как детский писатель*» («*Свободное воспитание*» 1913); 6) «*О погибших произведениях Гаршина*» («*Голос минувшего*» 1913, сентябрь); 7) «*Репин и Гаршин. Из истории русской живописи и литературы*», ГАХН, М. 1926, и др.

То, что я предлагаю здесь читателям,— не страницы из биографии Гаршина, а всего-на-все страницы из записок биографа. Задача биографии — представить социологическое построение (а, стало быть, и научное истолкование) жизни и творчества Гаршина¹. Задача «Записок биографа» несравненно скромнее — представить некоторые, мало или вовсе не освещенные, эпизоды жизни Гаршина так, как они отражены в памяти и сознании их непосредственных участников — самого Гаршина, его друзей и приятелей. Это как бы негативы, снятые с живой жизни: чтобы они стали ее действительным изображением, их необходимо проявить, пользуясь социологическими марксистскими реактивами, и отпечатать на фотобумаге. Такое проявление и отпечатание их явится трудом будущего биографа.

Биографом Гаршина быть отродно: чем глубже приходится входить в изучение его личности и жизни, тем более оправданным кажется то очарование, которое «сквозит и тайно светит» во всех воспоминаниях о нем. Лирическое стихотворение, выплаканное над его могилой старыми ли Полонским и Плещеевым, молодыми ли Минским и Мережковским, посмертные ли воспоминания, писанные под свежим горем внезапной утраты, или воспоминания, написанные через тридцать пять лет, в нашу эпоху, критическая ли статья, современница «Четырем дням», или строгий литературно-социологический экскурс наших дней,— все, что пишется о Гаршине, дается в одной тональности: высокой оценки его личности. Гаршин был одной из типичнейших жертв своего времени — одного из самых печальных в истории русской культуры: социальная несостоятельность и политическая беспомощность многих его порывов, исканий и взглядов в наши дни так очевидны, что вряд ли требуют критики.

Социологический марксистский анализ личности и жизненных позиций и путей Гаршина,— анализ, которого следует ждать от будущего биографа,— укажет ему определенное место в общественной и классовой структуре семидесятых — восьмидесятых годов, я же ограничиваюсь здесь попыткой негативного изображения самых темных эпизодов жизни Гаршина: 1) посещения Гаршиным М. Лорис-Меликова в 1880 году, 2) посещения им Л. Н. Толстого в Ясной Поляне в том же году, 3) отношения к Гл. И. Успенскому и 4) последних дней перед самоубийством.

В освещении первого эпизода, имеющего большую важность для понимания общественных воззрений и идеалов Гаршина, я пользовался не мало устными сообщениями близкого друга Гаршина — художника Михаила Егоровича Малышева (1852 — 1912). Он был свидетелем всей жизни Гаршина. Со 2-го класса (1865) он был самым близким товарищем Гаршина по 7-й гимназии; по окончании ее Гаршин не разлучался с Малышевым, встречаясь в кружках молодых художников. Когда Гаршин ушел добровольцем на войну, Малышев последовал его примеру и встретился с ним в г. Беле, в Болгарии, где раненный Гаршин лежал в госпитале. Весной 1879 года Гаршин, уезжая из Петербурга в Харьков к родным, взял с собой Малышева «на этюды». В зиму 1879 — 1880 годов Гаршин жил с ним вместе, и ему первому рассказал он о своем посещении Лорис-Меликова. В 1883 году Малышев был спутником Гаршина в странствовании в Тихвин, за впечатлениями из народной жизни. В 1885 — 1887 годах Гаршин, уже женатый, гащивал в летнее время у Малышева, и в последние месяцы своей жизни не таил от него всего тяжелого, что переживал тогда.

¹ Опыт подобного истолкования одного эпизода из жизни Гаршина я попытался дать в моей работе «Репин и Гаршин».

Художник-передвижник по темам и приемам своего творчества, Малышев стяжал себе первую известность картиной на сюжет, родной гаршинским рассказам: «В Болгарии. Эпизод войны 1877—1878 годов» (Третьяковская галерея в Москве).

Малышев был первым по времени иллюстратором Гаршина: ему поручил писатель сделать рисунки для народного издания «Четырех дней» (1886). Он был одним из редакторов сборника «Памяти Гаршина» (Спб. 1889), где поместил рисунок к рассказу «Медведи» и коротенькие, но очень ценные воспоминания. Написанные наспех, они не отражали и на четверть того, что знал о Гаршине Малышев. Художник дал мне слово написать о Гаршине большие воспоминания, но откладывал это из года в год. Мне приходится довольствоваться немногими его сообщениями в дополнение к его печатным воспоминаниям, так как 30 декабря 1912 года М. Е. Малышев скончался. Мои записи лежат в основе многого, что читатель встретит в предлагаемых записках, в особенности в эпизоде о посещении Лорис-Меликова.

Эпизод о посещении Гаршиным Ясной Поляны, вовсе не затронутый в биографии Толстого и лишь упомянутый в биографии Гаршина, изложен на основе сведений, полученных непосредственно от Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. Отношения Гаршина к Гл. И. Успенскому рисуются на основании неизданных писем первого. Наконец, в рассказе о последних днях Гаршина я впервые печатаю важное сообщение И. Е. Репина, написанное для моей книги. Хочется думать, что некоторые из сообщаемых здесь сведений могут быть полезны для понимания личности и творчества Гаршина.

За помощь в моей работе над биографией Гаршина я приношу мою глубокую благодарность вдове покойного писателя Надежде Михайловне Гаршиной, И. И. Горбунову-Посадову, В. Г. Черткову, Н. Н. Гусеву, Э. В. Работновой и с сердечной признательностью вспоминаю покойных Л. Н. Толстого, С. А. Толстую, И. Е. Репина, М. Е. Малышева, П. И. Бирюкова, А. К. Чертова, В. М. Золотилову, В. Г. Короленку, П. Ф. Якубовича. Б. Г. Успенскому признателен я за предоставление мне писем В. М. Гаршина к его отцу. За добрые указания и советы шлю признательность Ю. Г. Оксману. Ему я обязан сообщением отрывков из неизданных писем Гаршина.

Декабрь 1932 г.

I

Гаршин у Лорис-Меликова в 1880 году

I

«Когда печатался роман Достоевского «Братья Карамазовы»,— рассказывал М. Е. Малышев,— многие находили нереальным Алешу: таких людей не бывает, но мы-то, товарищи Гаршина, знали, что бывает: Алеша до жути напоминал нам нашего Всеволода».

И. И. Попов привел в своих воспоминаниях слова Н. С. Дренгельна, другого товарища Гаршина: «Поверьте мне: Гаршин

или уйдет в революцию, а то и в монахи»¹. В монахах Алеша Карамазов был, а выйдя из монастыря, по неосуществившемуся замыслу Достоевского, должен был уйти в революцию². Сходство Гаршина с любимым героем Достоевского отмечал не один Мальшев, и на мои попытки уяснить, в чем же оно было, Мальшев приводил целый ряд параллелей: бессребреничество, ясное и как будто без труда дававшееся ему целомудрие, особая детскость души, вызвавшая недоступное для взрослых друженье с детьми, какая-то ясность сердца и любящая внимательность к чужим скорбям и болям. Старый петрашевец Плещеев сказал об этом над могилой Гаршина:

Чиста, как снег, на горних высотах
И кротости исполнена безмерной
Была душа твоя, почивший брат.

Но эти же свойства Гаршина, рано примеченные его товарищами, породили их удивленье, когда в 1876 году Гаршин решил идти добровольцем на Сербскую войну³. Товарищей поражало зияющее, как им казалось, противоречие. Гаршин отрицал войну; один вид «Туркестанской серии» картин Верещагина (1874) вызывал в нем содрогание: он бледнел, стоя перед ними, и, по словам приятеля-художника, вычитывал у Верещагина то, чего у него не было: страстный протест против войны; газетный лист с военными донесениями способен был доводить Гаршина до нервных спазм,—и вдруг этот враг войны хочет идти добровольцем в Сербию! В Сербию Гаршина не пустили русские власти, объявив, что его очередь придет, когда сама Россия объявит войну, но на русско-турецкую войну он пошел одним из ранних добровольцев.

Гаршин так никогда и не сумел объяснить товарищам, почему он пошел на войну, хотя у него было несколько таких объяснений. Одно из этих объяснений он дал в стихах 1876 года:

Мы не идем по прихоти владыки
Страдать и умирать:
Свободны наши боевые клики,
Могуча наша рать...

¹ И. И. Попов, Минувшее и пережитое. Воспоминания за 50 лет, ч. I, П. 1924, «Колос», стр. 33.

² Дневник А. С. Суворина, П. 1923, первая запись.

³ Такое же удивленье вызвал поступок Гаршина и в И. С. Тургеневе. «Очень удивлялся он,—вспоминал С. Н. Кривенко,—каким образом Гаршин, такой миролюбивый человек, вдруг бросил студенческую скамью, пошел на войну, сражался и был ранен» («Из литературных воспоминаний» — «Исторический вестник» 1890, № 2, стр. 238).

менялся, постарел, побледнел. На его добром лице было так много грусти, что все солдаты заметили это и говорили: «Жалеет он нас! Видно и у него воля не своя!». Вообще, в царя они влюблены. Вечером он приехал на бивак, чтобы еще раз посмотреть нас... После смотра государя начальство (генерал) сделалось гораздо добрее и снисходительнее. Приказано было, как говорят, возможно облегчить людей» (1 июня)¹.

Гаршин пишет здесь тоном почти влюбленного в царя. Это не традиционная влюбленность, а влюбленность в царя,— в «освободителя» в связи с легендой, созданной об Александре II еще со времен Жуковского, предвещавшего, что его воспитанник

...на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий — человек.

Гаршин хотел видеть и в солдатах сплошных участников этой легенды. Всегда правдивый, он незаметно для себя при описании смотра впадает в явный гиперболизм, решаясь утверждать, будто солдаты «вообще влюблены в царя» и будто «все солдаты заметили» грусть царя-народолюбца, слезно жалеющего свой народ, посылаемый на смерть. Такой царь — это тот, кто в недавнем прошлом «освободил» свой народ от крепостного права, кто в настоящем «освобождает» болгар и кто в будущем доосвободит свой народ, укротив произвол «командующих классов», и «дарует» народу пути к свободному культурному и социально-политическому развитию. Исходя из освободительной легенды, окутавшей образ Александра II в прошлом, Гаршин жил политически этой легендой в настоящем и на вере в продолжающееся освободительство готов был строить и будущее народных масс. Чем искреннее он был в своей вере в настоящее, прошедшее и будущее этой легенды, тем сильнее и последовательнее мог он отказываться от всякой «красноты»: подпольная деятельность народнической «кучки» (его слово) не могли не казаться ему, по меньшей мере, ненужной в сравнении с надпольным, всероссийским и всеславянским «народолюбием» легендарного «освободительства» Александра II.

Насколько прочна была у Гаршина связь с этой легендой, явствует из того, что он пронес ее нерушимой через годы и еще не развеял ее из своего сознания и в 1882 году, когда Александр II был уже в могиле, а бывший «вольноопределяю-

¹ Собрание сочинений, стр. 486—487, 493, 488—489.

щийся Всеволод Гаршин» писал свое произведение «Из воспоминаний рядового Иванова».

«Я шел сбоку... и думал о том, что если государь со своей свитой будет стоять с моей стороны, то мне придется пройти перед его глазами и очень близко от него... Люди шли быстрее и быстрее, шаг становился больше, походка свободнее и тверже. Мне не нужно было приноравливаться к общему такту: усталость прошла. Точно крылья выросли и несли вперед туда, где уже гремела музыка и раздавалось оглушающее «ура!»... Чувствовалось, что для этой массы нет ничего невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я составлял, не может знать препятствий, что он все сломит, все исковеркает и все уничтожит. И всякий думал, что тот, перед которым проносился этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или снова бросить на страшные преграды, и всякий хотел найти в слове этого одного и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть. «Ты ведешь нас, — думал каждый: — тебе мы отдаем свою жизнь; смотри на нас и будь покоен: мы готовы умереть». И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чуял, что все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности. Он сидел на сером коне, недвижно стоявшем и насторожившем уши на музыку и бешеные крики восторга. Вокруг была пышная свита; но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне, в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо, исполненное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми, блестящими каплями: помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорившие что-то, должно быть приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнией, когда я, задыхаясь не от бега, а от нечеловеческого яростного восторга, пробежал мимо него, подняв высоко винтовку одной рукой, а другой — махая над головой шапкой и крича оглушительное, но от общего вопля неслышное самому мне, «ура!»».

Это описание выросло все из приведенного выше отрывка из письма к матери, но в рост пошла здесь не внешняя кар-

тина смотра, а то эмоционально-идеологическое содержание, которое вложено в нее Гаршиным: легенда о царе-народолюбце в этом описании 1882 года выражена ярче и решительнее, чем в скромном письме 1877 года. Это — настоящий гимн Александру II. Можно подивиться устойчивости в Гаршине этой легенды: целая цепь военных и политических событий, протекших между летом 1877 года и 1 марта 1881 года, не переменили взгляда Гаршина на Александра II: рисуя в 1882 году сцену смотра, он усиливает краски легенды, превращая карандашный эскиз 1877 года в яркое масляное полотно, которому место в Зимнем дворце, в мемориальной зале, посвященной Александру II, а не на страницах самого левого журнала эпохи. Сам Гаршин, написав в 1882 году сцену смотра, выразил своему брату Евгению сомнение:

«До сих пор я отдавал все свое в «Отечественные записки», а пройдет ли там эта сцена, и даже больше — могу ли я, как сотрудник «Отечественных записок», выдавать в свет такие сцены?» Но на вопрос брата: «Но ведь ты чувствовал и чувствуешь то, что ты здесь написал?», Гаршин твердо отвечал: «Да, чувствовал и чувствую»¹.

Гаршин еще не закончил «Рядового Иванова», когда получилось известие о закрытии, по приказанию Александра III, Высших женских медицинских курсов в Петербурге. Глубоко возмущенный писатель писал своей невесте: «Покойный царь никогда бы этого не сделал. Он помнил, что ваши делали на войне. Знаешь, Надик, писал я в своем теперешнем рассказе о том, как он смотрел нас в Плоэшты. Писал и глубоко взволновался; вылилась довольно страшная страничка. Нет там ни хвалы, ни клеветы, но чувство вылилось оригинально и, кажется, довольно сильно» (неизд. письмо от 26 августа).

Сцена смотра вызвала при печатании повести в «Отечественных записках» в 1883 году большие недоумения в редакции. Салтыков пенял Гаршину за нее и требовал исключения ее из повести, утверждая, что Гаршину «не след объясняться в любви царю». Мягкий Гаршин ответил отказом властному и чтимому им редактору-сатирику. Салтыков так ценит повесть, что, скрепя сердце и ворча, напечатал ее в 1-м номере журнала.

¹ Е. М. Гаршин, Как писался «Рядовой Иванов», «Солнце России», 1913, № 13, стр. 5.

Когда было основано издательство «Посредник», как передавал мне П. И. Бирюков, у редакции было большое желание выпустить «Рядового Иванова» отдельным народным изданием. Гаршин и сам желал этого, считая эту повесть «самой полной» из своих военных вещей. Редакция посоветовалась с Л. Н. Толстым, также очень ценившим этот рассказ. Лев Николаевич предложил просить Гаршина выпустить сцену смотра. Отрицательное отношение к этой сцене сложилось у Толстого еще при первом чтении «Рядового Иванова». В 1883 году, защищая пред одним из собеседников своих достоинства военных рассказов Гаршина, относительно этой сцены Лев Николаевич согласился с критиком Гаршина: «Это описание, действительно, меня неприятно поразило, оно напомнило мне...» — «Смотр накануне Аустерлица из «Войны и мира»?» — «Да. Но у меня описаны там ощущения Ростова, лица, к которому автор относился объективно, а у Гаршина о них говорится, как об ощущениях самого автора, точно эти ощущения присущи всем»¹. Толстой восстал, таким образом, против перенесения любовно-патриотических чувств Гаршина к Александру II в сердца всех солдат, видя в этом заведомую фальшь и ложь. Редакция «Посредника» просила Гаршина исключить сцену смотра из народного издания рассказа. Но Гаршин так же отказал в этом «Посреднику», как раньше Салтыкову. При своей правдивости Гаршин сделал это, конечно, потому, что считал подобный выпуск ложью перед самим собою: в себе он не находил, очевидно, противления этой сцене — ни политического, какое было у Салтыкова, ни моралистического, какое было у редакции «Посредника» и у Л. Толстого. Книжка так и не была выпущена «Посредником», — но со сценой смотра появилась в дешевом народном издании: «Из записок рядового Иванова о походе 1877 года» (СПб. 1887. Типография И. Н. Скороходова. Дозволено цензурой 9 января 1887 года); издателем был Е. М. Гаршин.

Это отношение к Александру II уцелело в Гаршине до 1886 года. Вот что рассказывает его сослуживец А. Васильев: «Я никогда не забуду, как однажды, принеся вырезку из какой-то газеты о воспреещении празднования юбилеев, Всеволод Михайлович глубоко был опечален, что этим распоряжением затемняется память народа о светлом дне освобожде-

¹ Г. А. Русанов, Поездка в Ясную Поляну, «Толстовский ежегодник» 1912, стр. 72.

ния его от рабства, о его воле, дарованной царем-освободителем (пред которым благоговел покойный)»¹.

2

Гаршин попал в Петербург в конце 1877 года. Он очутился в живом влиятельном «центре» своего поколения — он вошел в редакцию «Отечественных записок»; редакция этого влиятельного журнала так дорожила сотрудничеством Гаршина, что платила ему небольшое жалованье с тем, чтоб удерживать его исключительно для своего журнала. «Своим» Гаршин был и у художников-передвижников второго призыва: он дружил с Репиным, Ярошенко, Савицким и др., в творчестве которых была та же струя левого народничества. Третий круг знакомых у него был среди молодежи, по преимуществу учащейся. Он застал ее на распутье. Это было время перехода от «народничества» к «народовольчеству». Обилие знакомств в этом кругу полуреволюционном и революционном у Гаршина было таково, что даже первый биограф его, Я. В. Абрамов, писавший в тяжелых цензурных условиях, не мог не сказать об этом «прикровенно», что в зиму 1878—1879 годов Гаршин «лишился многих друзей и знакомых, что еще больше заставило его чувствовать тягость тогдашнего общего положения вещей»². Это была эпоха арестов в связи с усилением террористической деятельности «Народной воли». Гаршин вышел в отставку в конце 1878 года. У него была мысль остаться в военной службе, «влезть в эту среду» с тем, чтобы «иметь возможность не дозволить бить солдата, как это делается теперь, не дозволить вырывать из его рта последнюю корку хлеба»³. Отказ от этого намерения и выход Гаршина в отставку его мать, с некоторым раздражением, ставила в связь с его «левыми» знакомствами. «Осенью в Петербурге, — пишет она в консервативном «Русском обозрении», — либеральные друзья уговорили его лечь в госпиталь и добиваться отставки»⁴.

Гаршин был знаком с несколькими видными деятелями «Молодой Народной воли».

Осенью 1878 года он поступил вольнослушателем на исто-

¹ А. Васильев, Гаршин на службе, сб. «Красный цветок», Спб. 1889, стр. 26.

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 31.

³ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 25.

⁴ «Русское обозрение» 1895, № 2, стр. 877.

рико-филологический факультет и там познакомился со студентом того же факультета П. Ф. Якубовичем, который после 1881 года явился одним из главных зачинателей «Молодой Народной воли». Я запрашивал Якубовича об этих встречах. Гаршин влек его к себе и своим писательством, и чутким отношением к социальным болям действительности и к тревогам своего поколения. Но в то же время в Гаршине было нечто такое, что удерживало Якубовича и от слабого намерения вербовать его в стан бойцов революции. Его поражала в Гаршине какая-то тревожная идейная и жизненная безместность. В университете он интересовался историей,— и в то же время переходил от профессора к профессору, с лекции на лекцию: его можно было встретить и у естественников слушающим химию у Менделеева, и у юристов. И тут, в области знания, он еще только как бы присматривался к отдельным, иногда противоположным, дисциплинам: он еще все искал — и вряд ли находил. Якубович считал, что точно так же Гаршин безместен — был бы и в революции, несмотря на то, что жестоко страдал при одном виде «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови», несмотря на то, что питал искреннюю любовь к «погибающим за великое дело любви». Это же мнение о «безместности» Гаршина Якубович высказал еще в 1882 году в статье «Гамлет наших дней». Гаршин — Гамлет. «Он знает, на какое дело призвано его поколение, но у него не поднимаются руки на это дело». Мучительность своей эпохи, по мнению Якубовича, увеличилась для Гаршина-Гамлета тем, что он «видел общий подъем духа в нашем молодом поколении, расширение его нравственных задач, рост идеальных требований и стремлений, рост, увеличивающийся в последние десять лет чуть не с каждым годом и, наконец, достигший такой страшной силы напряжения, когда неизбежен разрыв со стариной». При переводе с подцензурного «эзопова» языка слово «нравственных» следует заменить здесь словом «социальных», вместо «идеальных» поставить «революционных», а «разрыв со стариной» надо перевести «революцией», тогда будет ясно, перед какой дилеммой ставил Гаршина Якубович. «Жить, как все, для него нравственно невозможно: для этого он слишком честен, слишком идеален, слишком дитя своей эпохи».

Гаршин знал и другого деятеля этой партии — Н. С. Русанова, в восьмидесятых годах также много положившего сил на попытки воскресить умиравшую партию террора. На

мой запрос об отношении Гаршина к народолюбцам Русанов писал мне: «Гаршин, несомненно, сочувствовал борьбе народолюбцев с абсолютизмом. Поскольку его интересовала собственно социалистическая сторона «Народной воли», сказать в точности не могу. Но припоминаю, что народнические тенденции в смысле горячих симпатий к мужику у него, несомненно, были, окрашенные всегда присущей ему струей болезненной чувствительности к страданиям бедных, слабых, несчастных и т. п. Эта же болезненная чувствительность мешала ему принимать террористическую борьбу как нечто неизбежное, против резких проявлений которого так же мало должно было протестовать, как против убийств на войне для защиты родины от жестокого врага. Иногда это ему придавало известный пессимизм унылости и отчаяния. Его рассказ «Attalea princeps» не был помещен в «Отечественных записках», потому что Щедрин нашел эту ноту чересчур подчеркнутой в рассказе о пальме, тянувшейся к свету и за то наказанной смертью. Во всяком случае для меня нет сомнения, что если порою терроризм удручал Гаршина, то гораздо меньше потому, что жертвы падали с обеих сторон, чем потому, что на одной стороне смерть косила людей удивительной духовной красоты, беспримерного героизма и органически пропитанных самым высшим альтруизмом. Таково было, если не ошибаюсь, его среднее нормальное состояние. Но — увы! — могло ли быть чисто и беспримесно такое настроение у Гаршина, состоявшего целиком из обнаженных нервов, питавшихся кровью горячо любящего людей сердца? Мне думается, будь тогда побеждена реакция, прекратись историческая и психологическая необходимость отчаянной борьбы лучших русских людей против гнета и несправедливости, Гаршин мог бы жить и работать гораздо дольше. Но он был затравлен ужасными русскими условиями. А «поэзии борьбы», как она выражалась у героев революционной идеи вроде Желябова, он не чувствовал и, по особенностям своей организации, не мог чувствовать» (Неизданное письмо ко мне от 26 ноября 1909 года). Из письма Русанова ясно, что своеобразное и шаткое «сочувствие» автора «Четырех дней» к народолюбцам и их борьбе не приводило Гаршина даже к отдаленной окраине действительных работников или пособников партии. Нигде не выражал он сочувствия *методам* политической борьбы народолюбцев, сочувствуя их народническим целям: борьбе с полицейским правительством дворянской реакции за социально-политические интересы крестьян

и рабочих. В народовольцах он ценил не революционеров, применяющих те или иные методы борьбы с абсолютизмом, а людей с высоким закалом характера и прекрасным моральным строем личности. «Нет, мне не место там, где нужна коспирация» — эти подлинные слова Гаршина¹ выражают отлично его отношение к участию в партийной работе. Со свойственным ему крайним «маломнением» о себе, он успокаивал в 1879 году мать, боявшуюся, что он примет участие в революционной борьбе: «Пожалуйста, не беспокойтесь за меня: со мной никакого «несчастья» случиться не может. Я никогда не совершу действия, противного законам, не по принципу, а просто потому, что пороха не хватит». Как сын своего времени, Гаршин подумывал в начале 1880 года уйти «в народ»: взять «место писаря при сельском ссудо-сберегательном товариществе», но хотел идти он «в народ» с целями чисто культурными, отнюдь не политическими: ««Пропагандировать» я в деревне, конечно, не буду. Буду жить, потому что считаю это полезным для себя, а, может быть, и сам пригожусь мужикам на что-нибудь» (Неизданное письмо от 25 января 1880 года).

Верил ли Гаршин в успех народовольчества — в то, что успешная революция возможна в России, в 1880 году? Люди, близкие к нему, как Малышев, знали, что этой веры у него не было.

Это неверие, действительно, сквозит в сказке «Attalea princeps». Пальма прекрасна и свободолюбива; ценою великих и совершенно одиноких усилий она может проломить холодную преграду оранжерейного стекла, но весь ее порыв и подвиг не в силах ни прервать покорного сна оранжерейных растений, ни разрушить жестокое царство зимы. В сущности в 1880 году рассказана была Гаршиным притча на старую тему письма 1877 года: «Я ясно сознал громадность мира, с которым пытается бороться кучка людей». Гаршину суждено было оказаться политическим предвидцем: ровно через год после появления его притчи, «гордая пальма» «Народной воли» достигла своего: «Раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекла» — был убит Александр II, но результат этого был тот самый, при котором пальма, умирая, подумала: «Только-то? И это все, из чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня величайшей целью?».

¹ И. И. Попов, Минувшее и пережитое, ч. I, стр. 30.

Этого политического пессимизма Гаршина не хотели в 1880 году принять те, кем он был тогда окружен.

Когда сказка про гордую пальму появилась в 1-м номере артельного журнала писательской молодежи «Русское богатство», Салтыков с гневом напал на одного из участников журнала, Н. Н. Златовратского, как только развернул книжку нового журнала: «Это вы зачем же «Атталею»-то приняли? Это... значит... я, по-вашему, преступление сделал, что не поместил ее? А?». На оправдание Златовратского, что сказка талантлива, сатирик возражал: «А по-моему это... по-моему, это чорт знает что такое! Талантлива!».

«Мне кажется, Михаил Евграфович,—говорю я,— что вы напрасно увидели в ней то, чего она не заключает в себе, вам показалось, быть может, что автор что-то проповедует?

— Да, конечно, проповедует... Фатализм проповедует... вот что-с!.. Самый беспощадный фатализм... губящий всякую энергию... всякий светлый взгляд на будущее. Ведь с таким фатализмом—куда же дальше итти?»¹

Салтыков, как руководитель виднейшего литературно-политического органа народничества, видел в сказке Гаршина политическую аллегорию и помещение ее в левом журнале рассматривал, как крупную политическую ошибку. Упреки Салтыкова Гаршину повторил в своей, уже цитированной выше, статье Якубович: «Не случится ли с чающими движения воды (читать надо: с революционерами), с ищущими выхода на свежий воздух из душной атмосферы отживших традиций (читать надо: самодержавия) то же, что случилось с гордой пальмой, пробившей в неустойчивой жажде свободы крышу оранжереи и что же нашей там? Холод и мрак, т. е. ту же смерть, только более скорую». Якубовичу этот вопрос и ответ представлялись политически вредными, и с гаршинским безверием он считал долгом бороться, как с социальной опасностью.

Через три года Гаршин напечатал в «Отечественных записках» «Красный цветок». Это была вариация притчи об «Attalea princeps»: как гордая пальма на борьбу за свободу, несчастный безумец клал жизнь на борьбу с красным цветком зла,—и оба они оказались «победителями-побежденными».

Рассказ символизировал в глазах читателей начала восьми-

¹ Н. Златовратский. Из литературных воспоминаний. Тургенев, Салтыков и Гаршин, «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», сб., М. 1897, стр. 401—402.

десятих годов ту борьбу поколения, которая после 1881 года кончилась так же неудачно, но велась с такою же затратою всех сил, как и борьба гаршинского героя.

В. Г. Короленко, сообщая мне (письмо от 10 января 1910 года): «Гаршина видел только три раза в жизни, на очень короткое время и никаких сколько-нибудь значительных разговоров с ним не вел. Писем от него тоже не получал», говорит: «Талант Гаршина я ставлю высоко. Как ни мало он написал в свою короткую жизнь, прерываемую периодами болезни, но в этом немногом дал много характерного для своего времени и своего поколения». Это «характерное» преисполняет и рассказ о герое «Красного цветка». «Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который обязан был сделать. «В этот яркий красный цветок собралось все зло мира... Он впитал в себя всю невинно пролитую кровь, все слезы, всю желчь человечества... Нужно было сорвать его и убить». Больной исповедует свою веру служителям, препятствующим ему ринуться на бой с цветком — Ариманом: «Дайте мне кончить дело! Нужно убить его, убить! убить! Тогда все будет кончено, все спасено». Если перевести эти речи на язык интеллигенции восьмидесятых годов, они выразят довольно точно политическую веру самых ярких представителей своего поколения — отношение террористов к Александру II и его слугам близко к отношению гаршинского героя к его цветку: «Народная воля» изошла кровью в террористических усилиях «вырвать» цветок самодержавия — «убить! убить! тогда все будет кончено, все спасено».

Гаршин умел *понять* — но не *разделить* — эту политическую веру своей эпохи, своего социального слоя и поколения. Он выразил это понимание и в известном письме к И. Н. Крамскому по поводу его картины «Христос в пустыне». Христос, вопреки данным картины и против намерений ее автора, у Гаршина оказывается настоящим революционером из круга народолюбцев: «Он поглощен своей наступающей деятельностью... Он сейчас же взял бы связку веревок и погнал из храма бесстыдных торгашей»; эта «связка веревок» в руках Христа — та же бомба и револьвер в руках народолюбца.

Но, *понимая* эту борьбу своей социальной среды и своего поколения, Гаршин *воспринимал* ее так, что не могло быть и речи об его участии в ней. Как он на войну шел, по его наивному признанию, чтобы быть *убитым*, а не быть *убивающим* (хотя, по железной логике действительности, ему

приходилось и убивать), так и его герой мыслил о своей борьбе с цветком: «Нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя (курсив здесь и далее мой. С. Д.) на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побежден или победит». Таким собственным жертвоприношением можно было бороться с самодержавием красного цветка, но не с самодержавием Александра II.

Гаршин был далек от своего поколения, когда упреждая последователей Л. Толстого, склонен был верить, что борьба эта может быть бескровна или, точнее, кровна с одной стороны: со стороны приносящего себя в жертву. Ни одна политическая партия в мире не могла бы принять в члены того, кто ведет борьбу по способу Гаршина, кто идет в революцию, чтоб быть убиту, а не чтоб побеждать.

Что Гаршин очутился «без места» в борьбе конца семидесятых — начала восьмидесятых годов, это видели революционеры и люди, близкие к Гаршину. Ни от кого не укрылось, какие муки причиняла ему эта безместность. Якубович не заводил с ним разговора о партии. Салтыков ворчал на автора «Дневника рядового Иванова» и отвергал «пальму», как политически вредное произведение безместника, смущающего тех, кто борется за лучшее место в жизни для себя и своего класса. Мать Гаршина, судившая в девяностых годах об эпохе 1880—1881 годов с очень определенного места дворянского консерватизма, писала о сыне: «По своей редкой доброте, честности, справедливости, он не мог пристать ни к какой стороне и глубоко страдал за тех и за других. Но, когда пошли насилия, убийства, покушения, взрыв Зимнего дворца, казни, его бедная голова не выдержала, и в начале марта 1880 года он был уже вполне сумасшедшим»¹. Его друг, сестра его близкого друга, М. М. Латкина, совсем в другом тоне, с другого места и в другое время (1888) писала о том же: «Сама жизнь в то время была очень тяжела. Люди с огрубелыми нервами, холодные и равнодушные, и те страдали от мучительной неизвестности, от чувства страха, который испытывает человек, живущий на колеблющейся почве и по глухим ударам и минутным вспышкам догадывающийся о страшной работе подземных сил. Его больное и чуткое сердце находило в этом

¹ «Русское обозрение» 1895, № 2, стр. 877; курсив Е. С. Гаршиной.

невыносимом положении неиссякаемый источник новых мучений. Он, кроткий и прощающий, с ужасом и тоской смотрел на страшную борьбу. Наконец, он не выдержал безмолвного ожидания и решился на безумную попытку. Он хотел остановить словами любви руки бойцов, наносящие удары, напомнить о кротости в самый разгар озлобления»¹.

Даже автор этого «лирического» по тону (и ценного по близости автора к Гаршину) очерка не мог не назвать «безумной» попытку Гаршина со «словами любви» проникнуть в стан «обгадряющих руки в крови», к диктатору Лорис-Меликову. Она, действительно, напоминает попытку гаршинского героя покончить с «красным цветком».

3

5 февраля 1880 года произошел взрыв Зимнего дворца, устроенный рабочим революционером Ст. Халтуриним.

Гаршин жил тогда вместе с М. Е. Малышевым в доме Яковлева, на Садовой. Малышев помнил и живо передавал сильнейшее потрясение, испытанное тогда Гаршиным.

После взрыва стало сразу известно, что царь, царская фамилия и никто из придворных не пострадал, но много пострадавших было среди солдат, несших караульную службу во дворце. Правительство медлило с сообщением, и молва умножала число жертв. Гаршин переживал с болью каждый слух, умножавший число пострадавших. Правительственное сообщение от 9 февраля сухо подводило итог: из числа «нижних чинов лейб-гвардии Финляндского полка десять человек убито, сорок четыре ранено, в том числе восемь тяжело». По словам Малышева, Гаршин долго не выпускал из рук листка с этим сообщением и плакал. Он резко нападал на терроризм, как систему политической борьбы, при которой возможны такие жертвы. В разговорах с посетителями из литераторов и учащейся молодежи он требовал доказательств права революционной партии на эти жертвы и, упреждая ответ, утверждал, что такого права нет, что человек не может быть никогда простым средством, материалом, пушечным мясом. Гибель солдат Гаршин вменял в вину террористической партии. Когда ему возражали, что о ней очень горюют, но что ее нельзя было предвидеть, Гаршин горячо

¹ М. А[вткина], Писатель, сб. «Памяти Гаршина», Спб. 1889, стр. 141—142.

возражал: «Надо было предвидеть! должны были предвидеть! Это — люди, это те самые мужики, ради которых вы идете на царя. Это — люди, а не динамитное мясо!». Малышев отчетливо помнил это выражение: «динамитное мясо». И в то же время Гаршин с тоской ждал усиления правительственных репрессий и нового нарастания политического гнета. Гаршину даже приходила в голову мысль, что взрыв был провокацией справа, что революционные организации тут не при чем. 10 февраля 1880 года он писал матери: «5 февраля так взбудоражило всё мое нутро, что эти дни ходил, как оглашенный, и ничего не делал, хотя лично чувствую себя очень хорошо, «личной хандры» (это мой термин для определения моего угнетенного состояния, когда таковое бывает) — личной хандры нет. Но эти трупы просто не дают думать. Дело ужасное и по некоторым соображениям принадлежащее не «партии», а каким-то мерзавцам совершенно с другой стороны».

15 февраля в газетах появилось новое правительственное сообщение — об учреждении Верховной распорядительной комиссии, и обращение к жителям столицы, подписанное главою этой комиссии — графом М. Т. Лорис-Меликовым. Назначение это подняло вихрь толков. «Тогда, — вспоминал Малышев, — шутили, что графу вменено в обязанность, чтобы у него правая рука не знала, что делает левая: правую бороться с крамолою, левую — «облегчать бразды». В какую же руку больше верил Гаршин? — В левую. Как участник турецкой войны он имел о Лорис-Меликове то же представление, как и все мы, добровольцы и офицеры: представление о человеке честном и добром, прямо по характеру, враге взяточников и казнокрадов, внимательном к солдату и вовсе не дорожившем ни чинами, ни наградами, ни мнением придворных сфер. Да, тогда о графе многие были такого же мнения. От него много ждали».

Слова Малышева следует сопоставить с припоминаниями А. Ф. Кони об отношении к Лорис-Меликову в либеральных кругах интеллигенции, чиновничества и буржуазии: «Обращение его, как председателя Верховной распорядительной комиссии, к населению Петербурга и к русскому обществу вообще, произвело необычностью своего тона крайне благоприятное впечатление. С первых его шагов стало ясно, что он не намерен идти избитым путем рутинных мероприятий, выработанных канцелярским способом; что он понимает невозможность держать общество в положении безучастного

зрителя политической борьбы, не прислушиваясь к его упованиям, не опираясь на его доверие и не вглядываясь любовно и пытливо в его нужды... Казалось, что в душной комнате со спертым воздухом отворили форточку — и многие почувствовали в своей груди свежую струю»¹.

Очарование «диктатурой сердца» в первое время в кругах интеллигенции и буржуазии было так велико, что партия «Народной воли» сочла нужным бороться с ним. В специально выпущенном «Листке Народной воли», признавая, что «прокламация к жителям столицы, призыв представителей города в комиссию, интимные беседы с журналистами, правительственные сообщения о пересмотре дел административно-ссылных» представляют «казовую сторону первого периода диктатуры графа Лорис-Меликова», партия подчеркнуто указывала обществу, что у него «есть не только лисий хвост, а также волчий рот»².

Подобно многим, Гаршин встретил назначение Лорис-Меликова с надеждой, что правительство само усомнилось, наконец, в своем методе голого насилия. Гаршин больше многих, именно потому, что был причастен к военной лорисовской легенде, склонен был верить, что старый добросердечный солдат, за какого он принимал Лорис-Меликова, сможет, не считаясь с придворным шопотом-ропотом, внушить царю (вспомним старую веру Гаршина в легенду о «царе-освободителе») добрую мысль о возврате к его прежнему «освободительству», к возобновлению так называемых «великих реформ». Это возобновление, по мечте Гаршина, вырвало бы правящую нагайку из руки жандарма и одновременно — бомбу из рук террориста.

Тем мучительнее отозвалась на Гаршине весть о неожиданном покушении И. Млодецкого на жизнь Лорис-Меликова. Млодецкий стрелял в генерала 20 февраля, в 2 часа дня. Между назначением Лорис-Меликова (12 февраля) и выстрелом Млодецкого прошла едва неделя, — выстрел, по словам Малышева, казался Гаршину ничем не вызванным и не оправданным. Известно, между прочим, что Исполнительный комитет партии «Народной воли» отверг предложение Млодецкого, считая, что при данных условиях покушение на

¹ А. Ф. Кони, Граф М. Т. Лорис-Меликов. *Отрывочные воспоминания*, «Голос минувшего» 1914, № 1, стр. 183.

² «Листок» вот писал Н. К. Михайловский (Полное собрание сочинений Михайловского, т. X, изд. 2-е, Спб. 1913, стр. 37—38).

Лорис-Меликова было бы политической ошибкой,—и Млодецкий стрелял в графа за личный страх и ответственность.

Малышев помнил, что Горшин высказал тогда мысль, что террор живет уже инерцией, что он из средства превращается в цель, что нужно резко отделять террористическую деятельность партии от ее политической работы среди крестьян и рабочих, что терроризм—кровавая ошибка. Но Горшин в эти дни не рассуждал, а только ронял мысли, не развивал их, а весь был полон одним, чувством беспредельной жалости к революционеру. «Что с ним будет?»—спрашивал он. Пожимали плечами и отвечали наивному Алеше Карамазову: «Повесят». Млодецкого никто в Петербурге не знал.

«Жить, есть, спать, ходить с мыслью, что вот рядом готовится петля, он не мог»,—вспоминал Малышев.

В это время он обдумывал письмо к Лорис-Меликову. Это письмо, дошедшее до генерала и ставшее известным лишь в 1925 году из статьи Ю. Г. Оксмана, необходимо привести, так как оно, как ни одна строка, писанная Горшиным, выражает этого человека, всего, каков он был, с его душевной наивностью и политической беспомощностью:

«Ваше сиятельство, простите преступника!

В Вашей власти не убить его, не убить человеческую жизнь (о, как мало ценится она человечеством всех партий!)—и в то же время казнить идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виноватых и невиноватых. [И], кто знает, быть может, в недалеком будущем она прольет их еще больше.

Пишу Вам это, не грозя Вам: чем я могу грозить Вам? Но, любя Вас как честного и единственного *могущего* и *мощного* слугу правды в России, правды, думаю, вечной.

Вы—сила, Ваше сиятельство, *сила*, которая не должна вступать в союз с насилием, не должна действовать одним оружием с убийцами и взрывателями невинной молодежи. Помните растерзанные трупы пятого февраля, помните их! Но помните также, что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения.

Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу, положите начало казни *идеи*, его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьете нравственную силу *людей*, вложивших в его руку револьвер, направленный против Вашей честной груди.

Ваше сиятельство! в наше время, знаю я, трудно поверить,

что могут быть люди, действующие без корыстных целей. Не верьте мне,— этого мне и не нужно,— но поверьте правде, которую Вы найдете в моем письме, и позвольте принести Вам глубокое и искреннее уважение

Всеволода Гаршина.

Подписываюсь во избежание предположения мистификации. Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! умоляю Вас, умиротворите страсти, умоляю Вас [для] ради преступника, ради меня, ради Вас, ради государя, ради родины и всего мира, ради Бога!»¹.

Письмо это в один фокус собирает все, что переживал Гаршин в связи с террором правительственным и террором народовольцев. Он ни словом не нападает на революционно-народническое дело партии,— дело борьбы за интересы крестьян, и его призыв «казнить идею» означает только — казнить идею терроризма, которую, как явствует из слов Мальшьева, он считал вредной для самого дела революции. В письме своем Гаршин ни на минуту не выпускает из своих плачущих глаз солдатских трупов 5 февраля, но тут же призывает диктатора прекратить и правительственный террор.

Оба террора, по Гаршину, так связаны между собою, что прекратить их можно только одновременно; и с наивностью Алеша Карамазова он закликает диктатора начать это дело теперь же, тотчас: «помните, что не виселицами и не каторгами [= террор правительственный], не кинжалами, револьверами и динамитом [= террор революционный, с явными намеками на недавние террористические дела С. М. Кравчинского, кинжалом убившего в 1878 году шефа жандармов Мезенцова, А. К. Соловьева, из револьвера стрелявшего 4 апреля 1879 года в Александра II, и С. В. Халтурина, динамитом взрывавшего 5 февраля 1880 года Зимний дворец] изменяются идеи ложные и истинные, но примерами нрав-

¹ Ю. Г. Оксман, Всеволод Гаршин в дни «диктатуры сердца», «Каторга и ссылка» 1925, № 2 (15), стр. 133—134; курсив самого Гаршина.

О состоянии Гаршина между покушением Молодецкого и письмом к Лорис-Меликову А. И. Эртель рассказывает:

«Всеволод Михайлович все время страшно волновался по поводу «события» [так, цензуры ради, Эртель называет предстоящую казнь Молодецкого], изменился до неузнаваемости, часто плакал и, наконец, обратился с умоляющей просьбой к лицам, еще могущим отвлечь «событие». («О Всеволоде Гаршине», «Красный цветок», Спб. 1889, стр. 46).

ственного самоотречения». Подать *первый* пример такого «самоотречения» и призывал диктатора Алеша Карамазов, заклиная его «простить человека, убивавшего Вас!».

Ю. Г. Оксманом было отмечено сходство этого гаршинского письма с письмами В. С. Соловьева и Л. Н. Толстого к Александру III, в которых они убеждали его простить убийц его отца в 1881 году. Сходство письма Гаршина с письмом Л. Толстого заслуживает более подробного рассмотрения. Толстой призывал в 1881 году царя к тому же, к чему в 1880 году Гаршин призывал генерала: «Простите, воздайте добром за зло, и из сотен злодеев десятки перейдут от дьявола к богу, и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от радости и умиления при виде примера добра с престола в такую страшную для сына убитого отца минуту. Государь! Если бы вы сделали это, позвали бы этих людей, дали бы им денег и ушли куда-нибудь в Америку и написали бы манифест со словами вверху: «а я говорю: любите врагов своих», не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом Вашим. Я бы плакал от умиления, как я и теперь плачу всякий раз, когда бы я слышал Ваше имя. Да что я говорю: «не знаю, что другие!». Знаю, каким бы потоком разлились бы по России добро и любовь от этих слез»¹. Как Лев Толстой, так и Гаршин с этим актом «прощения» сверху оба связывали начало новой эры в России. По Толстому, от этого разлились бы по России добро и любовь, по Гаршину, — наступил бы социальный мир и торжество человечности. Изъясняя в сопроводительном письме к Победоносцеву основной мотив, двинувший его писать царю, Л. Н. Толстой писал, что его к этому побудила «единственно мысль или вернее чувство, не дающее мне покоя, что я буду виноват перед собою и перед богом, если никто не скажет царю того, что я думаю, и что мысли эти оставят какой-нибудь след в душе царя; а я мог это сделать и не сделал»². Мотив Толстого и есть мотив Гаршина: в 1880 году он пережил то же, что Толстой в 1881 году.

Дописывая последние строки письма к Лорис-Меликову, Гаршин уже чувствовал недостаточность одной письменной мольбы. Что он переживал тогда, можно судить по рассказу Златовратского, которого Гаршин посетил 21 февраля:

¹ Проф. И. Малиновский. Русские писатели-художники о смертной казни, Томск 1910, стр. 56—57.

² «К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки», т. I, М. 1923, стр. 171.

«Я очень ему обрадовался, я было заговорил с ним радужно, попросту... но когда пристальнее взгляделся в его лицо, — у меня вдруг перехватило горло: очевидно он не слышал и не понимал ни слова из того, что я ему говорил; глаза его, широко открытые, смотрели странным, блуждающим взглядом, щеки горели. Он взял меня за руку своей, холодной и влажной.

— Нет, не говорите... Все это ужасно, ужасно! — проговорил он.

— Что ужасно? — в изумлении спросил я, так как ничего ужасного совершенно не было в том, что я ему говорил.

— Нет, не говорите лучше... Я не могу... Надо все это остановить... Принять все меры»¹.

В час пополудни 21 февраля военный суд вынес смертный приговор Млодецкому, на утро должна была быть казнь — и Гаршину приходилось самым срочным образом «принимать меры». Он ринулся к самому Лорис-Меликову молить о прощении Млодецкого.

Посещение Гаршиным диктатора произошло в ночь на 22 февраля.

Приведя рассказ об этом посещении, принадлежащий Н. С. Русанову, проведенному в комнате Гаршина и Малышева ту ночь, когда Гаршин отправился к диктатору², Ю. Г. Оксман выражает сомнение в самом факте этого посещения: «В какой мере можно базироваться на материале (Русанова), если основой для большей части его показаний являлись признания душевнобольного, признания, добрая половина которых могла определяться характерными для Гаршина именно в эту пору галлюцинациями и бредом?» В дальнейшем, упомянув о других рассказах о посещении Гаршина, исходящих от Г. И. Успенского, И. И. Попова и особенно В. А. Фаусека³, Ю. Г. Оксман признает достоверным только факт получения Лорис-Меликовым письма от Гаршина, «совершенно не прибегая к гадательным соображениям о том, удалось ли добиться Гаршину после вручения письма еще особой аудиенции у диктатора и вовсе опуская мало достоверные подробности тех действий, о которых повествуют друзья писателя»⁴.

¹ Н. Златовратский, Из литературных воспоминаний, стр. 402—403.

² Рассказ этот дважды был напечатан — в 1894 году в сборнике «С родины на родину» № 4, стр. 302—303, и в 1905 году в № 12 «Былого» (стр. 42—53).

³ О рассказе Н. Н. Златовратского Ю. Г. Оксман не упоминает.

⁴ Оксман, цит. соч., стр. 133—134.

Из приведенных слов явствует, что факт поездки Гаршина к Лорис-Меликову Оксман не отрицает: иначе было бы невозможно «вручение письма» ему¹; отрицается исследователем лишь факт свидания и беседы Гаршина с диктатором. Основной и единственный аргумент этого отрицания — тот, что все, что знали друзья писателя о его встрече с диктатором, исходило от Гаршина же, а он тогда был «душевнобольным» с развитыми галлюцинациями. Оксман упрекает биографов, что они пренебрегли свидетельством В. А. Фаусека: упомянув в своих воспоминаниях, что весной 1880 года он слышал от Гаршина рассказ о посещении Лорис-Меликова и о дальнейших его странствованиях, приведших его в харьковскую психиатрическую лечебницу, этот близкий друг Гаршина прибавляет: «Я не знал, верить ему или нет, не знал, все ли в его рассказе правда, или все продукт расстроенного воображения, или наполовину правда, наполовину бред; и не знаю этого и до сих пор»². Однако В. А. Фаусек оказывается свидетелем не за, а против Ю. Г. Оксмана. Рассказ больного Гаршина он делит на две половины. «Во время прогулки, — сообщает Фаусек, — он рассказал мне вкратце про свое посещение графа Лорис-Меликова перед отъездом из Петербурга, — посещение, странные и трогательные подробности которого я узнал лишь позднее от него же, когда он, уже здоровый, передавал мне все, что было с ним в эту ночь, его поведение, его речи и ответы графа. Теперь же (т. е. в конце марта — в начале апреля 1880 года, в Харькове) я слушал его и не знал, верить ему или не верить»³. Смысл этого сообщения совершенно ясен: больной Гаршин вкратце рассказал своему другу то самое, что здоровый Гаршин, несколько лет спустя, передал ему с подробностями исчерпывающими; и если краткому рассказу больного Гаршина Фаусек «не знал, верить ему или не верить», то позднейший подробный рассказ здорового Гаршина не возбуждает уже в осторожном материалисте-естественнике ни малейшего сомнения. Вторая половина рассказа больного Гаршина касалась его дальнейших странствований после отъезда из Петербурга. «Потом [после рассказа о посещении Лорис-Меликова. С. Д.]

¹ Псылка письма по почте была бы невозможна; лишь к вечеру 21 февраля Гаршин мог узнать о приговоре Млодецкому и письмо не могло бы, посланное по почте, дойти до генерала во-время: казнь была назначена на утро.

² В. А. Фаусек, сб. «Памяти Гаршина», стр. 91.

³ Там же, стр. 91; курсив мой. С. Д.

он рассказывал мне, с таинственным и многозначительным видом, не договаривая и говоря намеками о каких-то странных похождениях в Москве, где он будто бы был задержан, при чем должен был тайно выбросить свои деньги из кармана, кому-то был предъявлен и т. д. О том, как он потихоньку выбросил свои деньги, он говорил с таким значительным таинственным и гордым видом, как будто это было что-то необходимое и важное»¹. Вот эту-то вторую половину рассказа Гаршина, повествующую о том, что было с ним после посещения диктатора и отъезда из Петербурга, Фаусек и заключает вышеприведенной фразой: «Я не знал, верить ему или нет... и не знаю этого и до сих пор». Ю. Г. Оксман ошибочно перенес в своей прекрасной работе это «не знаю» и на самое посещение Лорис-Меликова, о котором Фаусек «не знал», правда оно или нет, лишь в 1880 году, когда слышал о нем от больного Гаршина, но о котором в «сию пору», т. е. 1888 году, после рассказа здорового Гаршина, знает, что посещение — несомненный факт.

Бесспорно, что все, что друзья Гаршина знали об его свидании с графом, они знали прямо или косвенно от него самого².

Бесспорно и то, что вскоре после посещения диктатора Гаршин заболел психически. Но были ли эти рассказы Гаршина, только что попытавшегося вырвать свой красный цветок, признаниями душевнобольного, как склонен думать Ю. Г. Оксман? Ни один из воспомянувших их не видел в них и следа «брёда и галлюцинации», — и сам Ю. Г. Оксман дал тому лучшее доказательство, опубликовав тогда же написанное письмо Гаршина к Лорис-Меликову. Он сам же поставил это письмо в параллель с письмами Вл. Соловьева

¹ Там же; курсив мой. С. Д.

² Выяснить безошибочно, когда именно узнал тот или другой приятель Гаршина о его посещении, невозможно, при обычной спутанности мемуарной хронологии. Н. Н. Златовратский не указывает, от кого он слышал рассказ о посещении диктатора, но прибавляет: «Только спустя уже порядочное время удалось выяснить, что с ним произошло». Г. И. Успенский пишет: «Накануне того дня, когда я видел его в нововоронившейся редакции он почти ворвался к высокопоставленному лицу»: судя по этому сообщению, Успенский узнал — или мог узнать — о происшествии на другой же день. И. И. Попов, школьный товарищ Гаршина, узнал о посещении 22 февраля; тогда же Н. С. Русанов, и всех раньше — М. Е. Малышев: «Рано утром, придя после этого разговора в мою комнату», т. е. непосредственно после беседы с Лорис-Меликовым (см. «Памяти Гаршина», стр. 128).

и Л. Толстого, находя, что «Воззвание Гаршина... предвосхищает и замысел, и аргументацию» этих писем, «уступая им лишь в четкости формулировок»¹. Выходит, стало быть, что «душевнобольной» Гаршин обнаружил в своем письме тот же «идейный замысел» и ту же логическую «аргументацию», что доктор философии Вл. Соловьев и «великий писатель земли русской» Л. Толстой!

Но что такое ночная беседа Гаршина с Лорис-Меликовым, как не полное *устное* повторение его же *письменного* воззвания,— повторение, сделанное через недолгие часы после письменного? Полное тождество между *письмом* и *устной беседой* Гаршина выясняется из того немногого, что Гаршин открыл из нее своим друзьям.

Я. В. Абрамов, писавший свои «Материалы для биографии Гаршина» на основе ценных сведений, полученных от близких Гаршина, и сам хорошо знавший его, пишет: «Вслед за покушением на графа Лорис-Меликова, Всеволод Михайлович явился к последнему, чтобы убедить в необходимости «примирения» и произнесения «всепрощения»»². М. Латкина сообщает: «Он хотел остановить словами любви руки бойцов, наносящие удары, напомнить о кротости в самый разгар озлобления»³. По Гл. Успенскому, Гаршин «стал умолять его [Лорис-Меликова] на коленях, в слезах, от глубины души, с воплями раздиравшегося на части сердца о снисхождении к какому-то лицу, подлежавшему строгому наказанию»⁴.

То же самое говорит М. Е. Малышев в печатных воспоминаниях, по силе цензурной возможности указывая на твердость и упорство гаршинского предстательства за революционера: «В ужасную минуту он не побоялся прорваться к одному очень и очень высокопоставленному лицу и высказать ему свой взгляд на дело весьма щекотливого свойства»⁵. В дополнительном сообщении Малышев передавал, что Гаршин молил диктатора о подвиге прощения, заклинал его «начать вселенского, всечеловеческое дело мира и добра». У Н. С. Русанова читаем: «Гаршин пытался доказывать диктатору, как было бы гуманно, тактично и даже полезно в общественном смысле с его стороны помиловать Млодецкого, тем более что этот покушался именно на Лорис-Ме-

¹ Оксман, цит. соч., стр. 135.

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 33.

³ Там же, стр. 142.

⁴ Там же, стр. 155.

⁵ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 128.

ликова, да и покушение не удалось». После возражения генерала Гаршин, «вдруг зарыдав, снова стал умолять азиатца-царедворца помиловать Млодецкого, дошел чуть ли не до обморока»¹.

Ни один из сообщающих о беседе Гаршина с диктатором не читал его письма, обнародованного Ю. Г. Оксманом, а между тем каждый из них вкратце повторяет все содержание этого письма: явный знак, что каждый верно передает суть ночной беседы, весь смысл которой для Гаршина был в том, чтоб усилить личной мольбой и предстательством силу своего «воззвания»: «простить человека, убивавшего Вас!» В этих «воззваниях» устных так же мало «галлюцинирования», как и в его воззвании письменном.

Явление Гаршина к диктатору в последний час, когда еще можно было остановить казнь Млодецкого, было столь же естественно после его письма, как был бы естественен приход к Александру III Вл. Соловьева и Л. Толстого с целью личным словом усилить доводы своих писем. Почему они не сделали этого, а Гаршин сделал,—это вопрос различия их биографий, а не вопрос клинической патологии. В настроении Л. Толстого перед написанием письма к Александру III и в ожидании им результатов его письма есть много общего с такими же переживаниями Гаршина. «Я помню,—вспоминает Илья Львович Толстой,—какое удручающее впечатление произвело на отца это убийство... Он не мог перестать думать об убийцах, о готовящейся казни и «не столько о них, сколько о тех, кто готовился участвовать в их убийстве, и особенно об Александре III» [подлинные слова Льва Николаевича. С. Д.]. Несколько дней он ходил задумчивый, пасмурный и, наконец, надумал написать новому государю Александру III письмо... Как крепко он верил тогда в силу своего убеждения! Как он надеялся, что преступников не простят,—нет, на это он не надеялся,—а хоть не казнят! И он с трепетом следил за газетами и все надеялся и ждал, пока не прочел, что всех участников этого дела повесили»².

В этих надеждах и чаяниях Л. Н. Толстой повторяет Гаршина. Но мало этого: он упрекал себя впоследствии, что не поехал тогда в Петербург и не добился личного свидания с царем. «Он сожалел,—вспоминает Л. П. Никифоров,

¹ «Былое» 1906, стр. 51—52.

² Илья Толстой, Мои воспоминания, М. 1914, стр. 157—158.

старый революционер, привлекавшийся по делу Нечаева и в восьмидесятых годах близкий к Толстому,— что по примеру Сютяева сам не поехал к Александру III, чтоб умолять о прощении убийцу его отца, считая, что этим положено было бы начало новой великой эры любви и всепрощения»¹. Таким образом, Толстой пенял на себя, что не прошел в 1881 году до конца весь путь, пройденный Гаршиным в 1880 году.

Источником всех рассказов о беседе с Лорис-Меликовым мог быть только сам Гаршин. Поэтому приходится усомниться в достоверности двух деталей, встречаемых только у Я. В. Абрамова и Н. С. Русанова, людей наименее близких к Гаршину. «Явился он ночью,— рассказывает Абрамов,— и хотя графа в то время строго охраняли, Всеволод Михайлович был до такой степени проникнут сознанием важности и необходимости своей миссии и это сознание придавало его обращению, его голосу и всей его фигуре такой повелительный вид, что он был допущен к графу Лорис-Меликову»². Невероятно, чтоб Гаршин сам мог рассказывать о себе, какой у него был «повелительный вид» при появлении у Лорис-Меликова; а никто другой не мог рассказать Абрамову, какой был вид у Гаршина во время свидания, происходившего с глазу на глаз.

Н. С. Русанов сообщает о другой детали посещения: когда Гаршин вылил перед диктатором всю слезную аргументацию своего вопля о прощении, он [Лорис-Меликов] стал прятаться за высшие принципы, за необходимость неукоснительного подавления преступлений, говорил, что будто бы прощение Млодецкого «зависит не от него, а от государя»,— и тогда-то, якобы, Гаршин, видя неуспех своей мольбы, прибег к другому средству вырвать прощение Млодецкому: он стал угрожать графу ядом, спрятанным под ногтем: стоит только ему броситься на графа, оцарапать его— и граф погиб: яд смертелен. На это Лорис-Меликов отвечал, будто бы, что «он старый солдат и смерти не боится». Гаршин был тронут ответом «и вдруг, зарыдав, снова стал умолять азиатца-царедворца»³.

Эпизод этот, передаваемый одним Русановым, представляется невероятным. М. Е. Мальшев, первый услышавший от Гаршина рассказ о ночном свидании тотчас после возвра-

¹ Л. П. Никифоров, Сютяев и Толстой, «Голос минувшего» 1914, № 1, стр. 144.

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 33.

³ «Былое» 1906, № 12, стр. 51.

шения его от диктатора, решительно отвергал сообщение Русанова. Психологически нельзя представить себе, чтоб Гаршин мог рассказать нечто подобное одному только Русанову, человеку наиболее далекому от него из всех, кто слышал от него в эти дни о посещении генерала. В дальнейшем же Русанов не мог слышать этого рассказа от Гаршина: в 1880—1881 годах Гаршина, в разгаре его недуга, не было в Петербурге, а в 1882 году Русанов уже эмигрировал и больше не видел ни Гаршина, ни близких к нему людей. «Пишу Вам это, не грозя Вам,—писал Гаршин диктатору, моля о прощении революционера,—чем я могу грозить Вам?» Невозможно допустить, чтобы своим выпадом, о коем повествует Русанов, Гаршин захотел уничтожить весь смысл и письма своего, и беседы, и всего своего выступления: своими угрозами он давал бы Лорис-Меликову право видеть и в нем самом своеобразного террориста милосердия. Даже если допустить, что именно в этом эпизоде сказалось наступающее заболевание Гаршина, то и тогда эпизод остался бы недостоверным: он не укладывается в историю болезни Гаршина, для которого, как будет видно дальше, характерно сохранение и в недуге всех основных нравственных укладов личности: он, как его символический alter ego больной из «Красного цветка», страдал гипертрофией самозаклания, не допускавшей ни малейшего, даже мыслительного, насилия над другим. Рассказ Русанова, в этой своей части, не может быть принят биографами Гаршина¹.

«Подробности» посещения диктатора Фаусек называет на основании — к сожалению, не переданного им — позднейшего рассказа Гаршина — «странными и трогательными». «Странное» в этом посещении, за вычетом апокрифических деталей Абрамова и Русанова, лишь одно — его необычность в истории русской действительности. Если б Фаусеку было известно то, что мы знаем теперь о таком же едва не осуществившемся посещении Александра III А. Толстым, он, вероятно, зачеркнул бы в своих записках и указание на «странность» поступка Гаршина: необычность его исчезла бы.

Есть еще одно свидетельство, что Гаршин, действительно, был у Лорис-Меликова, — это свидетельство М. Е. Малышева

¹ Неприемлемо и указание Русанова на то, что будто бы Лорис-Меликов принял Гаршина оттого, что «он знал Гаршина еще раньше, как добровольца во время русско-турецкой войны» (стр. 51): этого не могло быть, так как военная служба Гаршина вся прошла в Болгарии, а Лорис-Меликов действовал исключительно на Кавказе.

в его коротких воспоминаниях. «Это влиятельное лицо,—пишет Малышев про Лорис-Меликова, не называя его по имени,— к счастью, оказалось очень честным и умным человеком, и Всеволод Михайлович ничем не поплатился за свою отважность. Рано утром придя после этого разговора в мою комнату страшно взволнованный, он, рассказывая мне о своем посещении, осыпал горячими похвалами своего собеседника и восторженно ждал от него великих дел. Лицо это до сих пор, вероятно, помнит молодого энтузиаста, всю ночь проведенного в его квартире»¹. Когда писались эти строки— 15 июля 1888 года— Лорис-Меликов был еще жив (он умер 12, 24 декабря того же года), и Малышев мог так прямо ссылаться на него лишь потому, что твердо знал о действительности посещения и о значительности беседы, происшедшей между писателем и диктатором.

В дополнительном освещении эпизода Малышев подчеркивал горячую настоятельность заступничества Гаршина за революционера: «Будь на месте Лориса Плеве или Дурново, Гаршину не вернуться бы домой: его прямо отвезли бы из передней диктатора в крепость. Его бы обвинили в том, в чем впоследствии обвиняли Льва Толстого — в потворстве революционерам, в стремлении разоружить правительство. Ведь он доказывал графу, что «кто сильнее, тот первый и должен бросить меч». Из рассказа Малышева явствовало, что Гаршин призывал Лорис-Меликова, как главу правительства, показать пример мира и милосердия: он ждал от этого поступка тех же самых великих последствий, что и Л. Толстой от прощения первоапрельцев Александром III.

О тех трудностях, которые Гаршину пришлось преодолеть, прежде чем проникнуть в неурочное время к зорко охраняемому диктатору, сообщает вдова покойного, Надежда Михайловна Гаршина, в письме ко мне от 16 декабря 1932 года: «Окружающие Лорис-Меликова, вероятно, поражены были его (Гаршина) возбужденным видом, упорством; заподозрели, не новое ли это покушение; осматривая его, осматривали даже под ногтями: нет ли там яду. Все это (т. е. все пребывание Гаршина в доме Лорис-Меликова) длилось с вечера до 2—3 часов ночи». Гаршину пришлось пройти сквозь строй жандармов, охранников и шпиков!

Как же ответил Лорис-Меликов на эти слезные аргументы

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 128.

Гаршина, политически-наивные, социально-беспомощные, но полные искренней боли?

Нет сомнения, Гаршин не был полным незнакомцем для Лорис-Меликова. Русанов высказывал предположение, что граф оттого, между прочим, и принял Гаршина в неурочное время, что «вспомнил, что, действительно, есть себе такой на свете писатель Гаршин»¹.

Лорис-Меликов был не чужд некоторого читательского внимания к литературе. В молодости приятель и даже сожитель Н. А. Некрасова, он, по воспоминаниям д-ра Н. А. Белоголового, в 1870-х годах, когда состоял уже начальником Терской области, получил письмо от Некрасова, в котором поэт, напоминая их прежние отношения, просил его принять участие в литературном Благовещенском, отправленном по болезни на Кавказ, на продолжительное жительство и без всяких средств к существованию, и Лорис-Меликов исполнил просьбу старого приятеля и даже принял Благовещенского к себе на службу на Кавказе. «За русской литературой,— сообщает Белоголовый,— он следил с большой любовью, до последнего времени удерживал в памяти множество стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова и др. и нередко цитировал их в разговоре, любил также приводить остроумные изречения Салтыкова, которого был большим поклонником»². Этот интерес к произведениям Салтыкова (Лорис-Меликов был и лично знаком с ним) заставлял его быть читателем «Отечественных записок», где он и познакомился с произведениями Гаршина, особенно интересными для него по своим военным сюжетам. Таким образом, Лорис-Меликов знал, кого принимал в неурочное время.

Ответ Лорис-Меликова на мольбы Гаршина Мальшев передал в 1888 году в замаскированной форме: придя домой, Гаршин «осыпал горячими похвалами своего собеседника и восторженно ждал от него великих дел». Каких «великих дел» ждал бедный Гаршин от председателя верховной комиссии, пожелавшего благосклонно отделаться от странного, но неизвестного посетителя,— ясно уже из тех запросов, с какими Гаршин шел к нему, и из положительной оценки полученного ответа: он, по словам Мальшева, не только с уве-

¹ «Былое» 1906, № 12, стр. 51.

² «Гр. М. Т. Лорис-Меликов в воспоминаниях Н. А. Белоголового», сб. «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», М. 1897, стр. 371, 360.

ренностью ждал помилования Млодецкого, но надеялся, что это помилование явится *началом* новой эры в политике, в отношении государственной власти к преступникам и преступлению. Подлинных слов Лорис-Меликова Гаршин Малышеву не передавал,— может быть, держа данное диктатору слово о молчании,— но настоятельно верил каким-то его многообещающим словам, сказанным, конечно, в уверенности, что странный посетитель — не более, как добрый безумец,— верил настолько, что делился со старым товарищем своей верой самого невероятного свойства: старый генерал, действительно, покажет небывалый в мире пример «преломления меча» власти и кары, и это вызовет благой нравственный отклик справа и слева.

Что Лорис-Меликов отнесся к Гаршину именно как к доброму и сердечному душевнобольному, сообщает в письме ко мне и Надежда Михайловна Гаршина:

«Лорис-Меликов отнесся к нему хорошо, но ему кинулось в глаза возбужденное состояние его, и недаром он говорил ему неоднократно: «Молодой человек, вы больны, успокойтесь, идите домой». Если он что-нибудь обещал, то только из желания успокоить его волнение и прекратить деликатно (ведь не звать же людей выводить его!) и благополучно, как-нибудь скорее это свидание».

Но что бы ни говорил Лорис-Меликов Гаршину и каким бы больным его ни признавал, чрезвычайно важно отметить, что во всех записях ответ Лорис-Меликова передается как положительный. «Говорят,— сообщает Гл. Успенский,— что высокое лицо сказало ему несколько успокоительных слов, и он ушел»¹. Гаршин добился от Лорис-Меликова обещания «хоть на время отложить казнь и снова рассмотреть дело», читаем у Русанова². «Лорис дал какие-то обещания»,—вспоминает И. И. Попов³.

Малышеву одному довелось слышать от Гаршина его рассказ до казни Млодецкого, т. е. до 11 часов утра 22 февраля, и оттого в его рассказе Гаршин «осыпал» Лорис-Меликова похвалами: он мог еще верить в ожидаемые от него «великие дела». Все эти ожидания должны были сгинуть в какие-нибудь два часа: в 11 часов Млодецкий был казнен; поэтому все рассказы, кроме малышевского, услышанные уже после

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 155.

² «Былое» 1906, № 12, стр. 52.

³ И. И. Попов, Минувшее и пережитое, ч. I, стр. 36.

казни, передают обещания Лорис-Меликова в тусклых и неопределенных, хотя все-таки в положительных выражениях.

Рассказ Мальшева и в печатной, и в дополнительной редакции неоспоримо устанавливает важный факт: Гаршин был не только успокоен Лорис-Меликовым за участь Млодецкого, но он вернулся от него с более широкими надеждами утопического характера.

Через 2—3 часа он уже знал: он обманут даже в малейшей из своих надежд, что казнь будет отложена.

Вот что об этом писал А. И. Эртель, знавший Гаршина с 1879 года: «После, когда все кончилось, когда к довершению ужаса, ему самому, глазами своими пришлось увидеть частичку «события»,— он торопливо, с каким-то трепетным чувством испуга и отчаяния, в каком-то нервическом и болезненном беспокойстве покинул Петербург»¹.

В 1905 году летом, в «Посреднике», мне пришлось видеть А. И. Эртеля, и когда я спросил его о смысле этих туманно-прикровенных, цензуры ради, строк из его речи о Гаршине, он ответил мне, что Гаршину довелось видеть, как с Семёновского плаца, на котором совершилась казнь, увозили тело Млодецкого.

Нельзя было резче и жесточе оборвать все иллюзии гаршинской мысли и чувства. Это был роковой, почти смертельный удар для Гаршина: веревка, захлестнувшая шею Млодецкого, едва миновала его самого: он готов был покончить с собою. В марте 1880 года он писал А. Я. Герду из Тулы про «страшный кризис», пережитый им. «Не знаю, Вам, может быть, не приходилось в минуту отчаяния найти правду, к которой я стремился, что было сил, всегда, как только начал сознавать и понимать; Вам, может быть, не приходилось надевать себе петлю на шею и потом,— что всего страшнее,— снимать ее». Он жалуется на одного из близких своих друзей: «Даже Володя [Вл. М. Латкин], который понимает меня с полуслова, почти ничего не понял из моего поведения 15—25 февраля» (нужно вспомнить, что 15-е — день опубликования назначения Лорис-Меликова председателем Верховной распорядительной комиссии и его воззвания к жителям столицы, нужно вспомнить, что в эти пределы 15—25 февраля укладываются покушение Млодецкого, суд над ним, ночное свидание с диктатором, казнь Млодецкого и дни отчаяния, пережитые Гаршиным вслед за нею). «Он думал даже, что со

¹ «О Всеволоде Гаршине», сб. «Красный цветок», стр. 48.

мною повторяется старая история 1872 года, что я схожу с ума... Господи! да поймут ли, наконец, люди, что все болезни происходят от одной и той же причины, которая будет существовать всегда, пока существует невежество! Причина эта — неудовлетворенная потребность. Потребность умственной работы, потребность чувства, физической любви, потребность претерпеть, потребность спать, пить, есть и так далее. Все болезни, А. Я., решительно все, и «социализм» в том числе, и гнет в том числе, и кровавый бунт вроде пугачевщины в том числе. Так было и со мною»¹.

Гаршина, действительно, постигла вскоре болезнь, но вряд ли будет ошибкой сказать, что болезнь эта имела ближайшей причиной ту самую, на которую указывает Гаршин: «неудовлетворенную потребность». Одну из таких «потребностей» Гаршин назвал сам: «потребность претерпеть», из-за нее Гаршин пошел на войну добровольцем. Другую потребность Гаршин не назвал; ради нее он пошел к диктатору. На его несчастье, он поверил, что эта потребность в несбыточной гуманистической гармонии близка к осуществлению, да еще чуть ли не во всероссийском масштабе. М. Е. Малышев утверждал, что если б Лорис просто не принял Гаршина или твердо и прямо отказал ему, он мог бы еще вынести казнь Млодецкого; но с того часа, как он узнал, что он предан в лучшей своей надежде, «это была разбитая скрипка: среди звуков чистых и светлых, как всегда, нет-нет да и полоснет, как ножом, фальшивый звук,— и они все увеличивались, эти болезненные звуки».

Не во время визита к Лорис-Меликову Гаршин был болен — он был тогда так же здоров, как Вл. Соловьев и Л. Толстой в дни писания письма к Александру III и ожидания его ответа, — он заболел после казни Млодецкого. М. М. Латкина пишет: «Конечно, никто не расслышал гласа вопиющего в пустыне. Но эта попытка истощила его силы. Чаша страдания переполнилась; нервы не выдержали непосильного напряжения, и снова граница между действительностью и грезой пропала: он снова ушел в мир без времени и пространства. Вторично наступило безумие»². Два впечатления от Гаршина после посещения Лорис-Меликова, исходящие от достоверных свидетелей, подтверждают, что это общее заключение М. М. Латкиной об основной причине нового забо-

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 34 — 35.

² Там же, стр. 142.

левания Гаршина вполне справедливо. По рассказу И. И. Попова, Гаршин «чувствовал себя ужасно усталым. Брат строил предположения о том, как поступит Гаршин, если Млодецкий будет казнен, и не исключал возможности, что Гаршин выкинет что-нибудь по адресу Лориса. Но казнь Млодецкого как будто не вызвала никакой реакции в Гаршине. По словам брата, он как будто одервенел»¹. На другой день после казни Млодецкого Гл. Успенский видел Гаршина на одном собрании писателей. Его ненормальное, возбужденное состояние сразу обратило на себя всеобщее внимание. Никто не видал Гаршина в таком виде, в каком он явился на этот раз. Охрипший, с глазами, налитыми кровью и постоянно затопляемыми слезами. Он рассказывал какую-то ужасную историю, но не договаривал, прерывал, плакал и бегал в кухню под кран пить воду и мочить голову... Он охрип именно от напряженной мольбы, от крика о милосердии... и стал уже хворать, болеть, пить стаканами рижский бальзам, плакал, потом скрылся из Петербурга»².

В письме Н. М. Гаршиной ко мне находится ценнейшее подтверждение сказанному,—ценнейшее потому, что его дает не только жена Гаршина, но и врач-психиатр, которому выпала тяжкая доля—в совершенстве знать всю историю болезни и гибели Гаршина.

«Возникшая у него мысль говорить с Лорис-Меликовым, убеждать его переменить систему борьбы с политическим террором, прекратить казни, не казнить Млодецкого и т. д.—это желание еще здорового человека, разработка всего этого плана, писание письма, приготовление и выполнение—все это сильно волновало его и вывело из состояния душевного равновесия; выпитая водка (для храбрости) перед посещением, самое посещение, которого надо было длительно и упорно добиваться, наконец, свидание и разговор с Лорис-Меликовым—все это было проделано человеком, уже болезненно возбужденным, и послужило вероятно толчком к его дальнейшему душевному заболеванию».

Н. М. Гаршина забывает лишь указать на самое тяжкое в тяжком, что было пережито тогда ее мужем: на казнь Млодецкого.

¹ И. И. Попов, *Минувшее и пережитое*, ч. I, стр. 36.

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 155—156.

Уехал Горький из Петербурга в Москву под надвигающейся властью тяжелого недуга,— властью еще прикровенной, но уже готовой к своему торжеству.

Этим недугом он заплатил за безнадежную,— политически вредную,— иллюзию — научить диктатора-генерала тем заветам мира и любви, которые доказательны и обязательны были только для его собственного сердца. М. Е. Малышев припоминал, что в эти дни, перед бегством в Москву, он, бродя по комнате, повторял вслед за безумным королем Лиром:

Кто говорит: он виноват?
 Виновных нет. Я всех простил!..

II

Горький у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне

1

Двухнедельное пребывание Горького в Москве, в первой половине марта 1880 года, последовавшее затем посещение им Ясной Поляны и дальнейшие его странствования по Тульской и Орловской губерниям принадлежат к числу самых темных и запутанных эпизодов его биографии. Известно, что эти странствования окончились сильнейшим психическим заболеванием, от которого Горький оправился лишь к концу 1881 года. Известно, что в это время недуг все более и более овладевал Горьким. Но и недуг этот был *горьковский*: в его психическом заболевании личность его не распадалась; она сохраняла все свои основные уклады и влечения, все основные идеологические устремления и настроения,— только все это теряло ту целостную пропорциональность частей, то правильное взаимоотношение начал и влечений, ту гармоничность сочетания элементов, под которой и разумеют психическое здоровье. Позволю себе одно сравнение: лампа оставалась лампой — в ней было то же горючее, тот же фитиль, происходил в ней тот же процесс горения, но только, силою обстоятельств, фитиль был выпущен так сильно, что стекло лопнуло — и пламя без стекла не горело, как прежде, ровно и ясно, а билось тревожно, издавая сильную копоть. «Он,— говорит про Горького человек одинаковой с ним судьбы, Г. Успенский,— будучи психически болен, может удержать в памяти все мельчайшие подробности переходных ступеней

недуга, т. е. до точности помнить весь свой ход болезни, наблюдать сам себя, как самый лучший врач психиатр»¹. Это бодрствующее сознание себя, как человека, всегда различающего в себе между недугом и здоровьем, всегда подмечающего в своей психике звук чистый и звук фальшивый, это сознание заставляло Гаршина отрицать нравственную неменяемость душевнобольных: по словам Малышева, Репина и др., он много страдал оттого, что и в здоровом состоянии помнил все, что делал в приступах болезни, и считал себя нравственно ответственным за все, что совершал нравственно сомнительного во время болезни. Это свойство гаршинского психического недуга делает трудной работу биографа: ему с особым вниманием приходится разбираться в материале «темных периодов». Больной Гаршин заключает в себе труднейшую психоидеологическую чересполосицу: полоса явной или почти явной патологии межуется у него с полосой несомненного здоровья,— и обе полосы, по составу своей почвы, представляют один и тот же прекрасный чернозем; только на одной полосе он зарос лебедой, задавившей пшеничные всходы, а на другой — он покрыт крутым золотом пшеницы, победившим чахлые проростки лебеды и чертополоха. Задача разобраться в этой чересполосице весенних скитаний Гаршина в 1880 году предстоит будущему его биографу, для которого психиатрические знания так же обязательны, как социологическая осведомленность.

Готовясь к биографии Гаршина, я стремился собрать весь материал для освещения одного эпизода из этих весенних скитаний: посещения Гаршиным Л. Толстого в Ясной Поляне.

В необъятной литературе о Толстом посещение Гаршиным Ясной Поляны так же мало освещено, как и в литературе о Гаршине. Между тем, эпизод этот очень важен и для биографии Толстого: ведь Гаршин, мучимый тревогами нравственно-идеологического порядка, явился к Толстому тогда, когда и сам Толстой переживал тревоги и искания «Исповеди»,— и переживал их еще в полном одиночестве. Что сказал ему Гаршин и что он ответил Гаршину на его искания?

Вряд ли возможно дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Я лишь представляю здесь все, что собрано мною, как материал для ответа на него,— собрано при условиях, которые теперь уже неповторимы.

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 154.

Для последовательности рассказа я должен коснуться двухнедельного пребывания Гаршина в Москве, предшествовавшего его появлению в Ясной Поляне.

В Москве, по словам первого его биографа, Я. В. Абрамова, «он совершил ряд странных и нелепых поступков. Зачем-то ему захотелось поговорить с тогдашним московским обер-полицеймейстером Козловым, и он избрал для этого такой странный способ. Зайдя поздним вечером в публичный дом, он стал угощать его обитательниц и, накутив на приличную сумму, отказался платить; был составлен протокол, и его самого отправили в участок, при чем по дороге он выбросил зачем-то бывшие с ним 25 руб. В участке он потребовал личного свидания с Козловым и, добившись своего, имел с ним разговор, подобный тому, который вел с Лорис-Меликовым. Из Москвы Всеволод Михайлович ездил в Рыбинск, где получил оставшиеся в полку 100 руб. следовавших ему подъемных денег. Деньги эти там же истратил на покупку нового костюма, а бывший на нем подарил коридорному служителю в гостинице. Во время пребывания в Москве он строил самые неосуществимые планы о поездках по разным частям России, в Болгарию и т. д. Много толковал о романе из болгарской жизни, задуманном им в это время, мечтал об издании своих рассказов под заглавием «Страдания человечества» и т. п. В то же время он до такой степени тосковал, что бывший в это время в Москве его старый друг В. Н. Афанасьев должен был посвящать ему все свободное время и хоть немного отвлекать его от тоски. Прожив две недели, Всеволод Михайлович решился ехать в Харьков (к матери. С. Д.), но так как у него не было денег, то пришлось заложить часы и кольцо. Однако Всеволод Михайлович большую часть вырученной этим путем суммы истратил на разные, совершенно не нужные ему покупки, так что только при помощи В. Н. Афанасьева он мог взять билет до Туль; где он рассчитывал достать денег на дальнейшую дорогу»¹.

Сведения Абрамова, как мозаика, составлены из сообщений друзей Гаршина и сцементированы изъяснениями и домыслами самого биографа по плану: «поступки больного человека». Но те же факты можно сцементировать по другому, более сложному, плану: это продолжение той же изнурительной деятельности миротворца и страдателя за людей, под тяжестью которой Гаршин надломился в Петербурге. Деятель-

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 33—34.

ность эта поражает своей последовательностью. Беседа с московским обер-полицеймейстером продолжает беседу с председателем Верховной распорядительной комиссии. Гаршин и этого генерала молил о «преломлении меча» и перед ним аргументировал за «всепоощение». Мечты об издании своих рассказов под именем «Страдания человечества» сопровождались немечтательными попытками продолжать эпопею «Люди и война»: то, что мы теперь знаем под именем рассказа «Денщик и офицер», появилось в марте 1880 года в «Русском богатстве» именно как начало большой эпопеи: «Люди и война». Глава первая, с пометкой: «продолжение следует». Действие эпопеи, сколько помнил из слов Гаюшина Малышев, из России, из мирной «военщины» захолустья должно было перенестись в Болгарию, на войну, и опять вернуться в Россию: это должна была быть своеобразная «война» с двумя «миоами», предыдущим и последующим, и для нее-то Гаюшин хотел вновь посетить Болгарию, чтобы возобновить в памяти «войну». Гаюшин — это слышал от него и И. Е. Репин — собирался *показать* военщину и войну без всяких прикритий, и «начало» эпопеи, действительно, сильно отличается от его предшествовавших военных рассказов: там личная боль от войны и вопль против войны; здесь Гаршин начинает без всякой лжи, мазками твердыми и ясными, как художник-реалист. Трудно найти в русской литературе более жуткий пример реалистического, научно точного и вместе художественного описания, чем открывающее рассказ описание голого новобранца Никиты, являющего своим телесным безобразием «превосходное подтверждение теории Дарвина», как выражается какой-то либерал из воинского присутствия. В каждом мазке этого изображения чувствуется рука художника-социолога: биологическое безобразие Никиты у Гаршина сразу же выказывает свою социальную первооснову: «перед присутствием по воинской повинности стоял низенький человек с несоразмерно большим животом, унаследованным от десятков поколений предков, не евших чистого хлеба». Превосходный пример писательского приема, где факт биологического реализма правильно возводится к социологической первопричине! Недаром Лев Толстой, великий мастер военных дел в литературе, сразу же увидел в этом отрывке нечто новое: в 1883 году на упрек своего собеседника по адресу Гаршина: ««Четыре дня» также отчасти навеяны вашими сочинениями», он отвечал: «Может быть, но у Гар-

шина есть и свое, собственное — «Денщик и офицер»¹. Гаршин, как знали это его товарищи и друзья, как говорил он С. А. Толстой, — собирался писать обширный, документальный, исчерпывающий обвинительный акт против войны, и оттого избегал всякого субъективизма, но зато в самую эту объективность вкладывал весь остаток, уже порушенных, своих сил. Внутренний смысл этой работы для него был совершенно очевиден: это было продолжение той же проповеди «преломления меча», которую изустно расточал Гаршин, расточая свое сердце и здоровье, перед диктатором и обер-полицеймейстером. Эпизод с Лорис-Меликовым он продолжал переживать и в Москве, терзаясь им и, повидимому, отыскивая какие-то оправдания диктатору. Вот рассказ о его московском пребывании, записанный со слов О. Н. Хохловой, вдовы знаменитого оперного певца П. А. Хохлова: «Гаршин часто бывал у Хохловых. Он захотел починить очень понравившиеся ему старинные бронзовые часы, бывшие у Хохловых, и приходил почти каждый день утром и принимался за работу. Он обо всем говорил нормально, лишь эта длительная починка казалась немного странной. Но, когда он начинал говорить о своем посещении Лорис-Меликова, он волновался, путался, и трудно было понять его. Гаршин встречался тогда и с Вл. Ф. Завистовским, племянником и воспитанником Н. Ф. Костромитина, женатого на родной тетке Гаршина, А. Е. Гаршиной. Гаршин и ему рассказывал о свидании с Лорис-Меликовым. При этом он хвалил Лорис-Меликова»².

Мы не знаем и, вероятно, не узнаем подробностей и не уловим полного значения всех перипетий приключения Гаршина в публичном доме, но и тут многое поддается полному осмыслению. Известно, с какою исключительною болью всегда относился Гаршин к факту проституции, как социальному злу. В графе человеческих страданий она, в его сознании, занимала едва ли не второе место после войны. В узаконенном полицейском государстве существовании проституции Гаршин видел род легализованного убийства человеческой личности. Гаршин, случалось, мучил себя посещением публичных домов, чтобы держать перед глазами страшные язвы буржуазного общества: один из литературных сверстников Гаршина, И. Ясинский утверждал, что «Наде-

¹ Г. А. Русанов, *Поездка в Ясную Поляну*, «Толстовский ежегодник» 1912, стр. 72.

² Запись 1932 года, сделанная Э. В. Работновой.

жда Николаевна» была зачата в публичном доме на Фонтанке¹, об этом посещении Гаршин сообщает и в одном из писем к В. Латкину². Посещение 1880 года поэтому вовсе не исключительно в биографии Гаршина; исключительна лишь его болезненность и напряженность, вызванная недугом.

В эти же московские дни сказывалась с особой силой и та черта Гаршина, за которую товарищи его приравнивали к Алеше Карамазову: его крайнее бессребреничество. Когда Абрамов отмечает, что Гаршин то «подарил» костюм «коридорному служителю», то «выбросил зачем-то деньги», то очутился вовсе без копейки, мы должны знать, что только мышьяная доля этих его поступков покрывается его безумием, а львиная доля должна быть отнесена на его обычное бессребреничество, на его ненависть к деньгам, как к средству человеческого порабощения. В Москве он чувствовал решительное нападение на него недуга и стремился выбраться к родным на юг. «У него не было денег, и он продал свое обручальное кольцо на поездку, но не хотел взять в долг у Хохловых, которые ему предлагали»³.

Слагая в одно целое все эти разрозненные и, конечно, случайные черты пребывания Гаршина в Москве, нельзя не увидеть, что у них один стержень: это — то, что Гаршин чувствовал себя как бы ратником в походе против насилия, — при чем широта походных задач все увеличивалась по мере того, как разгоралась болезнь. Правительственная власть с казнями, виселицами и каторгами, политический терроризм, пушки и ружья войны, половое насилие, организуемое государством в публичных домах, власть денег, — все это объединялось в глазах Гаршина одним именем: насилия, «меча» (его тогдашнее слово), — и всему этому он желал противопоставить одну силу любви и нравственного подвига. Он тратил последние свои силы, как человек и писатель, — и огонь разгорелся в нем в тревожное пламя безумия. Он сознавал, что оно вот-вот завладеет им окончательно, и инстинктивно стремился бежать на юг, к родным. До какой степени остроты доходила в нем эта потребность бежать от недуга, уясняется из следующего эпизода: «Однажды Гаршин, придя в театр, когда П. А. Хохлов пел «Демона»,

¹ И. Ясинский, Роман моей жизни. Книга воспоминаний, Л. 1926, стр. 148.

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 53.

³ Сообщение Э. В. Работновой.

пришел к нему в уборную и сказал, что ему очень нравится, как поет Хохлов, но он не может досмотреть оперы, так как спешно едет из Москвы. Это очень удивило Хохлова, так как, хотя Гаршин и собирался в Харьков, но не так скоро». Чувствуя приближение душевной болезни, Гаршин торопился бежать туда, где его могли лечить¹.

В таком состоянии приехал Гаршин в Тулу. 13 мая он написал оттуда А. Я. Герду то замечательное письмо, из которого уже приведен был отрывок. Он был в разгаре работы над «Людьми и войной»: «Работа кипит свободно, легко, без утомления. Я всегда могу начать, всегда остановиться. Это для меня просто новость... Для 3-й книги («Русское богатство») уже набрано, вчера я послал последние странички. Вы увидите по первому отрывку в 1½ печатных листа, что это только начало. Написано у меня (вполне) их уже 6—7, а заготовлено на клочках всего с написанным до 15, и книга все еще не кончена.

...Я никогда за 20 лет не чувствовал себя так хорошо, как теперь»².

Перед поездкой в Ясную Поляну Гаршин чувствовал особый прилив творчества. О качестве его работы мы можем судить по «Денщику и офицеру», «последние странички» которого Гаршин и послал из Тулы: в нем объективности и реализма больше, чем во всех предшествовавших сочинениях Гаршина.

2

15 марта 1880 года Гаршин сообщал матери³:

«Дорогая мама! Я в Туле с разными целями, между прочим, познакомился с Л. Н. Толстым. Отправляюсь к нему завтра. Голубушка, вышлите мне сюда немедленно рублей 30—40. Очень нужно (наверно, можно занять: я сейчас же отдам). Адрес: Тула, Киевская ул., Старо-Московская гостиница, Всев. Мих. Гаршину.

Ваш любящий В[сесолод].

Если Володя приехал, пусть подождет меня три дня, т. е. до 19-го. Прошу его об этом весьма».

Зачем Гаршин хотел видеть Толстого?

¹ Сообщение Э. В. Работновой.

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 35.

³ Письмо это до сих пор не было издано.

Ответ на этот вопрос, в значительной степени, подготовлен всем, что нам известно о его пребывании в Москве и в Туле.

Когда я спрашивал Мальшова, прожившего вместе с Гаршиным зиму 1879—1880 годов, знал ли Гаршин в это время, что Л. Н. Толстой переживал тогда кризис своего мировоззрения и жизнеустройства, писал «Исповедь» и готовился к «Критике догматического богословия» и «Исследованию евангелия»,— Мальшов отвечал, что до Гаршина, несомненно, доходили слухи о перевороте, совершающемся с Толстым, об его, будто бы, отказе от литературной деятельности и о занятиях религиозными предметами. Иначе не могло и быть: Гаршин вращался в Петербурге в самом круговороте литературной жизни, был близок к редакции «Отечественных записок», почасту видал Салтыкова, Гл. Успенского и др., а в этих кругах была сенсацией весть о том, что с Толстым происходит переворот, уводящий его от литературы в мистику. Мальшов находил, что у Гаршина было тогда в воззрениях не мало общего с Толстым. Пример такого «общего» дает другой друг Гаршина — Фаусек. Встретив Гаршина через несколько недель после посещения Ясной Поляны, уже больного, он услышал от него, что «самая лучшая книга на свете — «Робинзон Крузо». Эта книга учит, что человек вполне может удовлетворяться самим собою, может все делать для себя сам». Он стал много и горячо говорить в пользу этой мысли и доказывать, что если каждый человек будет все сам для себя делать и не заставлять работать на себя других, не будет зависеть от других людей, то жить будет лучше, и масса всякого рода зла исчезнет со света. Он хотел сам жить сообразно своим мыслям, все делать сам... Напомню, что он говорил это в 1880 году, когда вопрос о том, что «человек должен все для себя делать сам», не поднимался еще у нас в литературе и в обществе, учение о нравственности Л. Н. Толстого не проникало еще в публику... Следовательно, Всеволод Михайлович в это время сам по себе, вполне самостоятельно, хотя и больной духом, пришел к тем взглядам, которые высказывал позднее Л. Н. Толстой»¹. Пример этот ярок: он показывает, что, исходя из общей мысли о бескровной борьбе с «царствующим злом», Толстой и Гаршин пришли к одному практическому выводу — что борьба эта должна начаться с отъединения себя от общего потока злой

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 89—90.

действительности, что этическая независимость от зла есть «неделание», неучастие в нем, а для этого необходимо, между прочим, ограничиться экономическим, производственно-потребительным самообслуживанием, дающим, по мнению Толстого и Гаршина, независимость от зла торжествующей действительности.

Л. Толстой всегда был любимым писателем Гаршина: «Настоящим властителем его дум был Лев Толстой,—сообщает Фаусек.—Его произведения были для Гаршина настольною книгою, несравненным образцом художественного творчества. Человеческая жизнь, изображаемая в романах Толстого, была для него как бы еще более реальной, еще более действительной, чем настоящая жизнь»¹. Гаршин никогда не скрывал своего ученичества у Толстого, и оно было общепризнано: «Гаршин ведь несомненно его ученик», говорил Тургенев². Соединим теперь, уже понятный нам, интерес Гаршина к душевному «перевороту» Толстого с исключительным вниманием к его писательству, вспомним, какое душевное потрясение переживал Гаршин в марте 1880 года и вместе — какой подъем художнической работы над толстовской темой «войны и мира», и, соединив все это, легко поймем, почему должна была быть гаршинская встреча с Л. Толстым.

У встречи этой был хороший пролог.

В августовский (3-го числа) свой приезд в Ясную Поляну в 1878 году, увенчавший письменное примирение с Толстым, Тургенев заочно «представил» Гаршина Толстому. «Помню разговоры о Гаршине,—вспоминает Т. А. Сухотина-Толстая,—он тогда только что появился на литературном горизонте, и Тургенев посоветовал отцу прочесть его рассказы... Гаршина отец сразу оценил и после этого всегда прочитывал все, что Гаршин печатал»³. Тургенев тогда заставил Толстого раскрыть «Отечественные записки», которых Толстой не читал⁴, и прочесть все, что было напечатано гаршинского: «Четыре дня» (1877, № 10) и «Происшествие» (1878, № 3).

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 100—101.

² С. Н. Кривенко, Из литературных воспоминаний, «Исторический вестник» 1890, № 2, стр. 276.

³ Т. А. Сухотина-Толстая, Друзья и гости Ясной Поляны, П.—М. 1923, стр. 14—15.

⁴ В 1881 году Салтыков с иронией писал Елисееву: «Я получил от Льва Толстого диковинное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы и вдруг, дескать, открыл целую новую ли-

В «Предисловии» к избранным сочинениям Мопассана в издании «Посредника», написанном в начале девяностых годов, Толстой писал:

«Кажется, в 1881 году Тургенев, в бытность свою у меня, достал из своего чемодана французскую книжку под заглавием «Maison Tellier» и дал мне. «Прочтите как-нибудь», сказал он, как будто небрежно, точно так же, как он за год перед этим дал мне книжку «Русского богатства», в которой была статья начинающего Гаршина. Очевидно, как и по отношению к Гаршину, так и теперь, он боялся в ту или другую сторону повлиять на меня и хотел знать ни чем не подготовленное мое мнение».

14 июня 1880 года И. С. Тургенев писал больному Гаршину: «Ваше последнее произведение (к сожалению, неоконченное) «Война и люди» окончательно утвердило за вами, в моем мнении, первое место между начинающими молодыми писателями. Это же мнение разделяет и гр. Л. Н. Толстой, которому я давал прочесть «Войну и люди»¹. Это произведение и было помещено в книжке «Русского богатства», врученной Тургеневым Толстому.

Поэтому неверно сообщение обычно отлично осведомленного Фаусека, будто, «когда Гаршин явился к нему [Толстому] в 1879 году (ошибка: в 1880 году), Лев Николаевич не имел о нем никакого понятия, как о писателе»².

Гаршин появился в Ясной Поляне в шестом часу вечера.

«Мы сидели в зале за большим столом и кончали обед,— вспоминает приезд Гаршина Илья Львович Толстой, которому в это время было 14 лет.— Лакей доложил отцу, что внизу его дожидается какой-то мужчина.

— Что ему надо?— спросил папа.

— Он ничего не сказал, хочет вас видеть.

— Хорошо, я сейчас приду.

В передней стоит молодой человек, довольно бедно одетый, не снимая пальто.

Папа здоровается с ним и спрашивает:

— Что вам угодно?

Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки,—

тратуру, превосходную и искреннюю, в «Отечественных записках» (Н. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, изд. 2-е, П. 1905, стр. 213).

¹ Историко-литературный вестник: «Атеней», кн. III, Л. 1926, стр. 125.

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 102.

говорит человек, глядя в глаза отца смелым, лучистым взглядом, наивно улыбаясь.

Никак не ожидавший такого ответа, папа в первую минуту как будто даже растерялся. Что за странность? Человек трезвый, скромный на вид, повидимому, интеллигентный, что за дикое знакомство? Он взглянул на него еще раз своим глубоким пронизывающим взглядом, еще раз встретился с ним глазами и широко улыбнулся.

Улыбнулся и Гаршин. Как ребенок, который только что наивно подшутил и смотрит в глаза матери, чтобы узнать, понравилась ли шутка.

И шутка понравилась.

Нет, конечно, не шутка, а понравились глаза этого ребенка, светлые, лучистые и глубокие. Во взгляде этого человека было столько прямоты и одухотворенности, вместе с тем столько чистой, детской доброты, что, встретив его, нельзя было им не заинтересоваться и не пригреть его.

Вероятно, это же почувствовал и Лев Николаевич. Сказав Сергею подать водки и какой-нибудь закуски, он отворил дверь в кабинет и попросил Гаршина снять пальто и взойти.

— Вы, верно, озябли,— ласково сказал он, внимательно вглядываясь в гостя.

— Не знаю, кажется, немножко озяб, ехал долго.

Выпив рюмку водки и закусив, Гаршин назвал свою фамилию и сказал, что он «немножко» писатель.

— А что вы написали?

— «Четыре дня». Этот рассказ был напечатан в «Отечественных записках». Вы верно не обратили на него внимания.

— Как же, помню, помню. Так это вы написали? Прекрасный рассказ. Как же, я даже очень обратил на него внимание. Вот как,— стало быть, вы были на войне?

— Да. Я провел всю кампанию¹.

— Воображаю, сколько вы видели интересного. Ну, расскажите, расскажите, это очень интересно.

И отец стал расспрашивать Гаршина последовательно и подробно о том, что ему пришлось видеть и пережить. Папа сидел рядом с ним на кожаном диване, а мы, дети, расположились вокруг.

¹ Ошибка Ил. Л. Толстого: Гаршин не мог сказать этого, так как пробыл на войне всего лишь 4 месяца (5 мая — 4 сентября 1877 года).

Я, к сожалению, не помню точно этого разговора и не берусь его передать. Я помню только, что было очень и очень интересно.

Того человека, который удивил нас в передней, теперь уже не было, перед нами сидел умный и милый собеседник, ярко и правдиво рисовавший нам картины пережитых ужасов войны, и рассказы его были так увлекательны, что мы весь вечер просидели с ним, не отрывая от него глаз и слушая.

Припоминая этот вечер теперь, когда я уже знаю, что бедный Всеволод Михайлович был в то время на границе тяжелого психического недуга, и ища в своем впечатлении о нем признаков этого заболевания, могу сказать, что некоторая его ненормальность проявилась разве только в том, что он говорил слишком много и слишком интересно.

С ярко горящими, широко открытыми глазами, он набрасывал нам одну картину за другой, и чем больше он говорил, тем образнее и выразительнее становилась его речь. Когда он временами замолкал, выражение его лица изменялось, и на нас опять смотрел милый и кроткий ребенок»¹.

Как мне удалось установить, Илья Л. Толстой достаточно верно сохранил в памяти внешнюю картину приезда Гаршина² и очень точно передал впечатление, которое Гаршин оставил в семье Толстых: впечатление человека обаятельного и сердечно прекрасного; это был точно приезд Алеши Карамазова в незнакомый дом — немножко странный, немножко несуразный, но сразу же завоевывающий Алеше друзей навсегда. Очень важны впечатления Ильи Л. Толстого от рассказов Гаршина: они все касались войны, воспоминаниями о которой он полон был в это время в связи с задачей написать ей обвинительный акт в «Людах и войне». Самое же ценное в рассказе Ильи Львовича — то, что он, силясь найти в яснополянском поведении Гаршина что-нибудь болезненное и ненормальное, не может найти ничего, кроме того, что он «говорил слишком много и слишком интересно». Это впечатление опять подтверждается и другими Толстыми.

¹ Илья Толстой, *Мои воспоминания*, М. 1914, стр. 151—154.

² Слышанные мною в 1909 году от С. А. Толстой подробности прибытия Гаршина в Ясную Поляну совпадают с рассказом И. Л. Толстого. В противоположность сообщению Гл. И. Успенского, что «Гаршин пешком, по грязи доплелся до Ясной Поляны» (сб. «Памяти Гаршина», стр. 156) и подобному же известию А. И. Эртея, С. А. Толстая утверждала, что «его довез какой-то попутный мужичок».

Из детей Толстых об этом посещении Гаршина обмолвилась Т. А. Сухотина-Толстая: «Отцу пришлось впоследствии (после 1878 года) познакомиться с Гаршиным, но их знакомство длилось недолго»¹, но эта обмолвка так тускла сравнительно с другим сообщением Татьяны Львовны о Гаршине, что нужно думать, что ее не было в это время в Ясной Поляне или почему-либо (например, по болезни) она не присутствовала при рассказах Гаршина.

Обмолвился и Лев Львович в своей неправдивой «Правде о моем отце». Сведения Льва Львовича о Гаршине фантастичны: «Он приехал верхом, пересекши — будто бы — таким образом всю Россию; он ехал из Петербурга в Харьков... Личная встреча с молодым автором очень опечалила Толстого; он встретил ненормального человека, который не мог ни рассуждать, ни понимать его»². Насколько правдива такая «правда» о Гаршине и Толстом, явствует из предыдущего и последующего изложения.

Рассказ Ильи Львовича не отвечает, однако, на главный вопрос биографов Гаршина и Толстого: произошла ли между ними та беседа, ради которой Гаршин стремился в Ясную Поляну? Гаршин, правда, рассказывал Толстому о войне, а Толстой задавал ему вопросы, но, во-первых, беседа эта шла при детях, что должно было держать ее в очень ограниченных рамках, а, во-вторых, беседа только о войне не могла быть той беседой, затрагивающей сложные вопросы мировоззрения, ради которой Гаршин искал встречи с Толстым.

Уже первому биографу Гаршина было известно, что такая беседа один-на-один с Толстым произошла в этот мартовский вечер: Гаршин, пишет Я. В. Абрамов, «попал в Ясную Поляну, именно графа Льва Толстого, ставил последнему какие-то мучившие его вопросы»³ — очевидно, и получал какие-то ответы на них. В. А. Фаусек зачеркивает вопрос о содержании этой беседы, когда пишет, что Гаршину «не пришлось лично познакомиться с великим художником, если не считать, конечно, его посещения Ясной Поляны в период болезни»⁴. Фаусек не различает двух приездов Гаршина в имение Толстого в течение марта 1880 года; один из этих

¹ Т. А. Сухотина-Толстая, Друзья и гости Ясной Поляны, стр. 15.

² Л. А. Толстой, Правда о моем отце, перевод с франц. А. В. Андреева, Л. 1924, стр. 34.

³ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 36.

⁴ Там же, стр. 102.

приездов, а именно *второй*, когда Гаршин не видал Льва Николаевича, должен, действительно, возбуждать серьезные опасения во вменяемости Гаршина. Другие мемуаристы или вовсе обходят молчанием посещение Гаршиным Толстого, или едва обмолвливаются о нем. Только А. И. Эртель и Виктор Иванович Бибиков говорят об этом несколько полнее. Слова Эртеля приводятся ниже. В. Бибиков (1862—1892), известный в свое время беллетрист, передает в своих воспоминаниях со слов самого Гаршина следующее: «Тогда же (в январе 1887 года) он рассказал мне историю своего помешательства: как он, уже душевнобольной, приехал в Ясную Поляну к Льву Толстому и сообщил знаменитому писателю свои планы об устройстве всемирного счастья. Лев Толстой переживал тогда тяжелый нравственный период, разрешившийся всем известной «Исповедью» с ее последствиями, и планы Всеволода Михайловича не показались ему такими несбыточными, какими они казались всем другим, знавшим болезнь Гаршина. Они долго говорили, подробностей беседы Всеволод Михайлович не помнил, но помнил, что Толстой одобрил и приветствовал его начинания; и Гаршин выехал из Ясной Поляны окончательно убежденным в необходимости своей высшей миссии, купил на дороге у первого встречного крестьянина лошадь, отдав за нее все свои деньги и, как Дон-Кихот, поехал верхом по Тульской губернии с проповедью об уничтожении зла. Но следовавший за ним брат снесся по телеграфу с местными властями; Всеволода Михайловича задержали, он был отвезен в харьковский дом умалишенных, результатом пребывания в котором и явился «Красный цветок»»¹.

Этот отрывок, да несколько слов А. И. Эртеля, являются единственными, исходящими от Гаршина, известиями о его посещении Толстого. Сам Л. Н. Толстой нигде не обмолвился воспоминанием о беседе с Гаршиным.

В 1906 году я просил одного из друзей Толстого и вместе с тем доброго знакомого Гаршина — И. И. Горбунова-Посадова, редактора издательства «Посредник» — расспросить Льва Николаевича о его встрече с Гаршиным. Иван Иванович сделал это осенью 1906 года; кое-что он записал на бумажке в Ясной Поляне, а главное передал мне устно тотчас по воз-

¹ «Воспоминания» В. Бибикова вошли в книгу его «Рассказов» (П. 1888, стр. 347—381) и перелечатаны при Полном собрании сочинений Гаршина, изд. 1910 г., стр. 71.

вращения оттуда, а я тогда же записал. Вот то и другое в связном изложении:

«Лев Николаевич о своем свидании выразился, что плохо помнит все подробности, так как то время было для него временем напряженной душевной работы, всецело поглощавшей его, и оттого он вообще из того времени лучше помнит то, что он думал тогда и переживал внутренне, чем то, что он видел и слышал. Но из всего свидания с Гаршиным, из беседы с ним, он вынес одно главное впечатление, которое определил так:

— Это была вода на мою мельницу.

На вопрос Горбунова-Посадова он пояснил, что почувствовал тогда, слушая Гаршина, что он не одинок в своих поисках правды и религиозной истины, и ему было отрадно чувствовать, что и другие из того же образованного круга мучатся теми же поисками нравственного оправдания жизни, как и он сам в Ясной Поляне. Когда Гаршин говорил ему об ужасе жизни, о насилии, на котором она вся построена, о казнях и войне, о необходимости отказаться от насилия в личной жизни и всякому насилию, от кого бы оно и для чего бы ни исходило, противопоставить любовь и всепрощение и звать людей к этому делу всеобщего примирения и любви,— Лев Николаевич слышал как бы юношеское повторение своих собственных мыслей, которые тогда еще никому не были известны, и ему было отрадно с этим молодым человеком, внешний облик которого так соответствовал его внутреннему облику, раскрывавшемуся из его слов и признаний.

— Да, это была вода на мою мельницу,— повторил Лев Николаевич.— Как же было не радоваться?

На вопрос Ивана Ивановича, не замечал ли тогда Лев Николаевич в словах и суждениях Гаршина чего-нибудь такого, что давало бы повод заподозрить в нем душевную болезнь, Лев Николаевич отвечал, что, во-первых, он никогда не верил и не верит в непогрешимость тех, кто берется распознавать болезнь от здоровья в душевной жизни человека, и, во-вторых, многое в словах и планах Гаршина он отнес тогда насчет его молодой горячности и сердечного увлечения своей идеей. Гаршин был полон планов служения добру. Основа их была та, что нужно всепрощение, чтоб освободить жизнь от зла, и что истинное всемирное счастье наступит лишь тогда, когда каждый выбросит насилие из своей жизни сам и поставит своею целью всюду и всех склонять

к тому же. Нужно каждому начать с себя—это первое и главное.

Тут, в связи с этим убеждением, Гаршин, по словам Льва Николаевича, поделился с ним проектом, приведшим его в смущенье. Человек, по мнению Гаршина, должен отказаться и от насилия над животными: нужно освободить и лошадей и не пользоваться ими для езды. На указание Льва Николаевича, что трудно обойтись без них, Гаршин с жаром принялся доказывать, что можно построить такую машину, с помощью которой человек сам может передвигаться на любое расстояние с помощью одной своей силы, и карандашом на бумаге набрасывал проект такой машины.

— Тогда меня это, признаться, смутило,— сказал Лев Николаевич:— мне показалось странно это его увлечение, а теперь, сколько припоминаю, это было у него что-то вроде велосипеда¹.

Лев Николаевич смутно припоминал, что Гаршин горячо говорил еще что-то против городов, мечтал о поселении в деревне и строил какие-то планы—не те, что были у прежних народников, шедших «в народ» учить и пропагандировать.

— И в этом он тоже был мне близок.

Лев Николаевич запомнил ответ Гаршина на вопрос, при первом знакомстве: «Пишет ли он?».

— Кое-что пописываю,— стеснительно отозвался Всеволод Михайлович.

Редкая скромность ответа поразила Льва Николаевича, когда он тут же узнал, что перед ним—автор «Четырех дней».

Беседа шла поздним вечером.

В заключение Лев Николаевич подчеркнул, что в Гаршине обрадовало его тогда внутреннее горение, сила нравственных запросов и беззлобность во всех суждениях о людях. Такая же была у него и наружность:

— Прекрасное лицо, большие светлые глаза, все в лице открыто и светло».

В начале 1909 года я сделал вторую, дополнительную попытку еще раз повысить Льва Николаевича, на этот раз через его секретаря, Н. Н. Гусева. Лев Николаевич отзывался в том смысле, что след от общения с Гаршиным, от

¹ Следует припомнить, что Гаршин всегда отличался способностями к изобретениям, и в первой половине восьмидесятых годов получил, вместе с одним инженером, премию за изобретение приспособления к вагонам для перевозки зерна насыпную.

знакомства с его личностью, остался у него в душе прекрасный, облик Гаршина ему близок, но он затрудняется обозначить его чертами более определенными. Лев Николаевич отметил особо, что в Гаршине было вовсе не видно «писателя».

— Ничего писательского. Просто хороший, добрый, милый человек.

Тому, кто знал, как не любил Лев Николаевич «писательства», как профессии, и «писателя», как самовлюбленного «профессионала», понятно, какую большою похвалою Гаршину были в его устах эти простые слова.

В октябре 1909 года мне пришлось быть в Ясной Поляне, и тут, в кабинете Льва Николаевича, в присутствии И. И. Горбунова-Посадова, особенно ценного собеседника, так как он хорошо знал Гаршина, я вновь поднял разговор о нем.

В то время Лев Николаевич с особой остротой переживал газетные известия и всевозможные рассказы о смертных казнях. В 1908 году он отозвался на них воззванием «Не могу молчать», к которому готовился чтением записок и воспоминаний революционеров, испытавших лично ожидание смертной казни, и рассказами очевидцев смертных казней.

Тем с большим вниманием слушал Лев Николаевич 20 октября 1909 года мой рассказ о покушении Млодецкого, о страдных днях Гаршина и об его устном «Не могу молчать», заявленном в лицо тогдашнему «Столыпину» — Лорис-Меликову.

Выслушав меня, Лев Николаевич сказал:

— Пишите. Это очень важно. Это нужно.

И тут же признался, что о посещении Гаршиным Лорис-Меликова и о борьбе Гаршина со смертным приговором Млодецкому слышит в первый раз. *Гаршин, оказалось, ни слова не сказал ему об этом при свидании.* С последовательностью высоко скромного человека, он открывал Льву Николаевичу лишь свои душевные тревоги, мыслительные недоумения, лишь спрашивал его мнения о своих внутренних исканиях, лишь поверял ему свои, сбыточные и несбыточные, планы душевной и всяческой помощи людям и даже животным, в чем видел свое новое призвание, но ни полусловом не обмолвился о поступке, который был на устах у всех в Петербурге¹: он

¹ «Тургенев, — рассказывает С. Н. Кривенко, — очень подробно расспрашивал меня о Гаршине и особенно об его эксцентрическом путешествии к графу Лорис-Меликову, о котором тогда говорили» («Из литературных воспоминаний», «Исторический вестник» 1890, кн. 2, стр. 238).

не видел в нем ничего, кроме должного и обычного, которое делают, но о котором не говорят.

Эта черта в Гаршине, помню, вызвала настоящее умиление в Льве Николаевиче; он несколько раз в разговоре возвращался к ней.

Из его припоминаний выходило, что Гаршин был один из первых, кто пришел к нему искать нового пути жизни, пришел по собственной глубокой нужде, и именно серьезность и благородная неотвязность его запросов особенно тронули тогда Льва Николаевича. Он подчеркнул это и подчеркнул свою любовь к Гаршину-писателю:

— Помню и люблю его «Четыре дня» — прекрасный рассказ. Я жалею, что не поместил его в «Круг чтения». И в нем самом помню что-то прекрасное, чистое, доброе, страдающее.

На этом общем, светлом впечатлении от Гаршина Лев Николаевич стоял твердо и охотно делился им с нами, но на мои «биографические» приставания: помнит ли он то-то, запомнил ли он вот это, не было ли того-то, Лев Николаевич, терпеливо и ласково выслушав меня, разводил руками и с виноватою улыбкою говорил:

— Ничего не помню. Забыл. Все забываю.

Для моего утешения он тут же дал мне разрешение заглянуть в его дневник. В. Г. Чертков, а потом Н. Н. Гусев наводили там для меня справки, но оказалось, что дневника Толстого за 1880 год не существует: Лев Николаевич не вел его. Таким образом все сведения о посещении Гаршина, которых можно было ожидать от самого Льва Николаевича, исчерпываются тем немногим, что собрано на этих страницах.

Оставался другой источник яснополянских сведений — Софья Андреевна Толстая.

О моей работе над биографией Гаршина ей сказал сам Лев Николаевич, и она первая заговорила со мной в тот вечер о Гаршине.

«У нас, в Ясной, — говорила она, — мало тогда еще бывало посетителей. Мы жили замкнуто, в семейном круге, и были очень изумлены появлением неизвестного молодого человека. Когда узнали, что это Гаршин, были ему рады: мы все читали его рассказы. Я сказала Гаршину, что уже знакома с ним и что он уже был нам давно рекомендован. Он очень удивился.

— Кем же? — спросил он.

— Тургеневым,— ответила я.

Он очень смутился и постарался замять этот разговор¹.

Я перевидала на своем веку у нас тысячи посетителей, но другого такого скромного и деликатного не запомню. Он был приятен всем: и мне, и Льву Николаевичу, и детям. Я спросила его, что он пишет нового. Он ответил:

— Да, пробую. Кое-что начал...

Он был худой, говорил много и волнуясь. Ни разу не засмеялся, и рассказы его были печальны. Казалось по его виду, что он перенес какую-нибудь серьезную болезнь. На самом деле, он заболел тогда.

Он долго беседовал со Львом Николаевичем, остался у нас ночевать: было поздно ехать. На утро уехал. Очень извинялся за беспокойство. Это была сама деликатность. Из писателей он больше всех любил тогда Пушкина и Льва Николаевича. Достоевского чуждался. А себя писателем не считал, говорил, что не знает, чем еще займется, что всем полезно: одной литературой вправе заниматься лишь Пушкины да Толстые.

У нас у всех осталась жалость к нему. Он казался таким хрупким и неприспособленным к жизни. Вскоре после этого он опять заезжал в Ясную, но совсем больной, и не застал нас».

Куда уехал Гаршин из Ясной Поляны — я не знаю. Быть может, в это именно время он посетил мать критика, Варвару Дмитриевну Писареву (род. в 1815), проживавшую в имении Грунец Новосильского уезда Тульской губернии. Но он, не в дальнем времени, вернулся в Ясную Поляну.

Об этом втором заезде Гаршина есть два сообщения: Ильи Львовича и Татьяны Львовны Толстых. Ни Лев Николаевич, ни Софья Андреевна этого посещения не помнили вовсе: их в это время не было в Ясной Поляне.

«Через несколько дней,— вспоминает Илья Львович,— он приехал к нам опять, но на этот раз верхом на неоседланной лошади. Мы увидели его из окна едущим по прищепту. Он разговаривал сам с собой. Подъехав к дому, он слез с лошади и, держа ее в поводу, потребовал у нас карту России. Кто-то спросил его, зачем она ему нужна.

¹ Вот параллель из воспоминаний О. Н. Хохловой. Она встретила Гаршина в имении его тетки «Ожунскы горы» Орловской губернии: «Он восхищался Тургеневым, но никогда не говорил, что Тургенев высоко ставил его талант. Об этом узнали лишь от матери Гаршина» (Записки Э. В. Работновой).

— Мне надо посмотреть, как мне проехать в Харьков к матери.

— Как, верхом?

— Ну да, верхом,— что же тут удивительного?

Мы достали атлас, вместе с ним разыскали Харьков, он записал попутные города, простился и уехал. Впоследствии оказалось, что Гаршин приезжал к нам на лошади, которую он каким-то путем выпряг у тульского извозчика. Хозяин лошади, не подозревавший того, что он имеет дело с человеком больным, потом долго его разыскивал и с трудом отобрал свою лошадь назад. После этого Гаршин исчез»¹.

Рассказ Татьяны Львовны, которой было тогда 15 лет, вполне соответствует рассказу ее брата:

«Он приехал из Тулы верхом на лошади, отнятой у извозчика. Отца с матерью не было дома; наши преподаватели и преподавательницы и прислуга были приведены в недоумение появлением этого странного молодого человека. Никто его не пригласил в дом, и я помню, с каким страхом и смущением я смотрела на эту красивую безумную фигуру без шапки, на неоседланной лошади, когда он ехал обратно по березовой аллее и сильно размахивал руками, что-то декламируя»².

Несколько лет спустя, в разговоре с А. И. Эртедем, Гаршин «с чувством живейшего умиления вспоминал о том, как с дороги из Тулы пошел он пешком в Ясную Поляну, к знакомому ему в то время графу Л. Н. Толстому, о разговоре с ним, длившемся всю ночь, и о том, что считает эту ночь «лучшей и счастливейшей в своей жизни»»³.

Вряд ли будут когда-нибудь известны подробности скитаний Гаршина между двумя посещениями Ясной Поляны и после последнего заезда в нее. Он ехал на Орел в Харьков, к матери. По дороге он намечал остановку в 25 верстах от г. Ливен Орловской губернии, в имении «Окуневы горы», принадлежавшем Николаю Федоровичу Костромитину, женатому на сестре его отца, Александре Егоровне Гаршиной.

¹ Илья Толстой, Мои воспоминания, стр. 154.

² Т. А. Сухотина-Толстая, Друзья и гости Ясной Поляны, стр. 15. Некоторые черты этого рассказа («приезд из Тулы», представление о Гаршине, как о человеке вовсе не известном семье Толстых) объясняется тем, что Татьяна Львовна не присутствовала при первом посещении Гаршина: для нее он, действительно, был новым и странным лицом,— тем более, что не было дома С. А. и Л. Н. Толстых, которые принимали его в первый раз.

³ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 54.

В этом имени Гаршин гостил летом в 1878 году, после войны, и сохранял о нем теплую память. По сообщению Н. М. Гаршиной (в письме ко мне), «в состоянии полубезумия, но уже пешком, переплывши в одежде только что растаявшую речку, он посетил знакомых помещиков Орловской губернии, где проявлял свою психическую болезненность; от них ушел и вскоре уже, — кажется, полицией, — был доставлен в Орловскую психиатрическую больницу, откуда был взят братом Евгением Михайловичем и перевезен в Харьковскую больницу». Во время этих странствований по проселкам и дорогам Тульской и Орловской губерний Гаршин что-то проповедывал крестьянам¹. Гаршин избегал впоследствии вспоминать об этом времени, но иной раз обмолвливался об этом, как в рассказе В. Бибикову, что ездил тогда «с проповедью об уничтожении зла».

Это было развитие дела, начатого в Петербурге, в кабинете диктатора, продолженного в Москве и подкрепленного в Ясной Поляне. Гаршин всюду там говорил о необходимости убеждения и проповеди, — и перенес ее теперь в голодные черноземные деревни. Если перед диктатором и полицеймейстером ему приходилось, прежде всего, вопиять о «преломлении меча», то пред угрюмой нищетой голодных деревень с курными избами, пред лицом безлошадных тульских и орловских мужиков и забитых баб, разоренных и уstraшенных «мечом» правящих классов, Гаршину приходилось лишь проповедывать о «прощении» этих же диктаторов, полицеймейстеров и утешителей всякого чина и власти.

Гаршин это и делал. Он, как безумец его «Красного цветка», скитался по весенним проселкам и зажорам, «чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле».

В Харькове он продолжал это дело — в безумной мечте душевнобольного. В лечебнице, которая, по словам матери Гаршина, «скорее может быть названа местом предупреждения и пресечения», в больнице, где больному писателю «по совершенно бессмысленной жестокости, не давали ни бумаги, ни карандаша, ни газеты, под предлогом парализовать умственную деятельность»², он предавался прежней «умственной деятельности», результатами которой еще недавно делился с

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 36.

² Письмо Е. С. Гаршиной к М. Е. Салтыкову от 7 июня 1880 г. См. М. Салтыков (Щедрин), Письма, под ред. Н. В. Яковлева, Л. 1925, стр. 19.

Л. Толстым и тульскими мужиками: он продолжал изыскивать средства победы над мировым злом, и изыскал те самые, которые с такой силой и правдой описал впоследствии в «Красном цветке». Он сам объяснил другу, что рассказ этот «относится ко времени моего сиденья на Сабуровой даче: выходит нечто фантастическое, хотя, на самом деле, строго реальное»¹. И средства борьбы со злом, открытые им в безумной мечте «Красного цветка»,— одни и те же, что были поведаны им диктатору, Льву Николаевичу, мужикам: себя принести в жертву за всех.

Известие о болезни Гаршина, повидимому, глубоко взволновало его недавнего собеседника, Льва Толстого.

8 февраля 1881 года С. А. Толстая писала своей сестре Татьяне Андреевне Кузминской в Харьков, где муж ее, А. М. Кузминский, занимал место председателя окружного суда: «Милая Таня, Левочка дал мне два поручения, которые я прошу тебя и Сашу, если можно, исполнить. Первое: узнать, есть ли в Харькове секта *штундистов* и какое их там положение. Второе: содержится ли в Харьковском сумасшедшем доме *Гаршин* и как его зовут? От ответов, может быть, зависит поездка Левочки в Харьков»².

К сожалению, «ответов» не нашлось: ни в письмах Татьяны Андреевны, ни Александра Михайловича Кузминских к С. А. Толстой за 1881 год. Впрочем, ответ мог быть только один: Гаршина в это время уже не было в Харькове; с конца 1880 года он жил уже в имении своего дяди В. С. Акимова на Днепровско-Бугском лимане. Поручение же Льва Николаевича высоко примечательно: след, оставленный в его душе мимолетным посещением Гаршина в 1880 году, был так глубок и важен для него, что он, истый домосед, не любивший без крайней необходимости даже ненадолго покидать семьи, готов был ехать на свидание с больным Гаршиным в неблизкий Харьков.

3

Лев Николаевич не раз и не мне одному говорил, что Гаршин принадлежит к числу его любимцев среди русских писателей. Внимание к его произведениям, поддержанное личной встречей в 1880 году, не ослабевало у Толстого до смерти.

¹ Письмо от 9 июля 1883 г. к В. А. Фаусеку,— сб. «Памяти Гаршина», стр. 46.

² Архив Толстовского музея, папка 33.2. Письма Т. и А. Кузминских к С. А. Толстой.

Когда 25 августа 1883 года Г. А. Русанов, при посещении Ясной Поляны, вовлек Льва Николаевича в беседу о современной русской литературе, Толстой перебил его вопросом: «А читали вы Гаршина?» — и, на сухой ответ собеседника: «Да, читал», воскликнул:

— Это прелесть, прелесть! Тургенев первый указал мне на него. Вот прочтите, — сказал он мне, увидав у меня книжку журнала. — И, действительно, прелесть! Странно право! Видишь книжку «Устоев», просматриваешь оглавление и там, вместе с другими, какими-нибудь Федоровым, Сидоровым, Карониным и пр. и пр., значится наравне и Гаршин со своим рассказом. Так и чуется, — оживленно говорил Толстой, — что редакция и не подозревает, что Гаршин и эти другие — совсем не одно и то же. Он положительно выделится, сразу выделится. Вы читали [пропуск в рукописи Русанова; надо думать «Четыре дня»]? А его «Художники»? Прелесть! А «Ночь»? А [пропуск]?»

При всегдашней своей строгости суждений о литературном искусстве (в беседе с Русановым Толстой дает строгие отзывы не только о последних веуах Тургенева, но и о «Преступлении и наказании») Толстой в этом отзыве резко выделяет Гаршина из всей современной литературы («какими-нибудь» у него оказываются и известные беллетристы И. В. Федоров (Омулевский) и Каронин (Петропавловский)), — выделяет, как истинного художника среди толпы литераторов, он помнит все вещи Гаршина и следит за его деятельностью. Характерно упоминание «Устоев». В этом народническом журнале выздоровевший Гаршин поместил только одну свою вещь — сказочку «То, чего не было» (1882, № 3—4, двойной, стр. 266—270), и однако Толстой уследил ее появление в мало распространенном недолговечном журнале, и поставил эту крошечную сказочку вне всякого сравнения, выше всех писаний народников, сотоварищей Гаршина по журналу.

На возражения собеседника, не очень расположенного к Гаршину, что «в его военных рассказах чувствуется ваше влияние», Толстой заступнически возразил: «Ну, что же, это ничего не значит», — и, отметив свое недовольство единственным местом во всей прозе Гаршина — описанием царского смотра, утверждал, что его влияние на Гаршина — это только «может быть», а что «у Гаршина есть и свое собственное. Жаль, что он, говорят, болен»¹.

¹ Г. А. Русанов, В Ясной Поляне, «Толстовский ежегодник» 1912, стр. 71—72.

В разговоре с Русановым Толстой, в своей отповеди ему, дал целую апологию творчества Гаршина, которое — величайшая редкость в литературном сознании Толстого! — он принимал целиком за исключением, буквально, одной лишь страницы.

В 1886 году Толстой опять выступил на защиту Гаршина. Вот что читаем в воспоминаниях писателя из крестьян С. Т. Семенова: «Мне и той публике, среди которой я жил, так восхищавшимся рассказами «вроде притч» самого Л. Н. Толстого, Лескова, Эртеля и др., не совсем был ясен только что изданный («Посредником» в дешевом народном издании С. Д.) рассказ Гаршина «Четыре дня», и я высказал это.

Лев Николаевич слегка удивился.

— Это прекрасная вещь, — сказал Лев Николаевич, — там психология человека, отражающего ужас войны. Ведь война — ужасное дело среди людей, и в рассказе чувствуется этот ужас.

Я сказал, что нашему брату это чувство не передается.

— Это потому, что наши писатели пишут, забывая о простом народе. Для народа хорошо выходит у тех писателей, кто сам знает народ и живет с ним»¹.

В 1894 году — по словам В. Лазурского — «из новых авторов Толстой признавал безусловно талантливыми только двух: Гаршина, со смерти которого тогда уже прошло шесть лет, и Чехова, который только входил тогда в славу»².

Но из этих двух Толстой Гаршина ставил выше.

В беседе 7 августа 1895 года с С. И. Танеевым он сказал:

— Если бы можно было соединить Чехова с Гаршиным, то вышел бы очень крупный писатель, который всегда знал, чего он хочет, а Чехов не всегда знает, чего он хочет»³.

Из беседы с Гаршиным в 1880 году Толстой знал, «чего он хочет», и это «хотение» Гаршина было так близко его собственному, — все равно, раскрыто ли оно в жизни или в произведениях, — что Толстой чувствовал особое родство с Гаршиным-художником. Этим же объясняется, почему Толстой так неколебим оставался в своей оценке Гаршина, однажды им принятой.

¹ С. Т. Семенов, Воспоминания о Л. Н. Толстом, Спб. 1912, стр. 7.

² В. Лазурский, Воспоминание о Л. Н. Толстом, М. 1911, стр. 43.

³ С. Попов, Из дневников С. И. Танеева, сб. «Танеев», изд. Музсектора Гиз, М. 1925, стр. 62.

Гаршин вспомнил свою беседу с Толстым и свое тогдашнее горячее прозелитство непротивления, когда писал в августе 1884 года свою повесть «Надежда Николаевна». Это воспоминание я нахожу во вставном эпизоде о картине одного из героев повести, художника Гельфрейха. Художник замыслил картину на сюжет: «Илья Муромец в темнице»: «Владимир Красное Солнышко рассердился за смелые слова на Илью Муромца: приказал он взять его, отвести в глубокие погреба и там запереть и землей засыпать». Княгиня Евпраксеюшка «посылала ему по просфоре в день, да свеч восковых, чтобы читать евангелие». Старый казак, никогда доселе не читавший евангелия, «сидит и читает. И раскрыл он место о нагорной проповеди, и читает он о том, что, получивши удар, надо поставить себя под другой». Гаршин заставляет старого богатыря читать то самое место евангелия, которое легло в основу нравственного учения Толстого и его понимания христианства, выраженного в книге «В чем моя вера». Книга эта только что появилась тогда в женевском издании Эллидина и разошлась в множестве списков и гектографированных изданий, вызывая шумные толки в обществе. «И читает он это место,— то самое, на «чем» основана «моя вера» Толстого,— и не понимает. Всю жизнь трудился Илья, не покладая рук; печенегов и татар, и разбойников извел великое множество... век прожил в подвигах и на заставах, не пропуская злого в крещеную Русь; и верил он во Христа, и молился ему, и думал, что исполняет Христовы заповеди. Не знал он, что написано в книге. И теперь он сидит и думает:

«Если ударят в правую щеку, подставить левую? Как же это так, господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят, или ребенка тронут, или наедет поганый, да начнет грабить и убивать твоих, господи, слуг? не трогать? оставить, чтобы грабил и убивал?»

Илья Муромец — Гельфрейх — Гаршин задает тут автору «В чем моя вера» тот самый вопрос, в той самой формулировке, с тем самым историческим примером, какой в течение тридцати лет постоянно задавали Толстому все критики, не принимавшие его нравственного учения. Гаршин далеко уходит здесь от тех воззрений, которым был предан в 1880 году и которые были смежны с воззрениями Толстого. И Гаршин (он же — Гельфрейх, он же — Муромец) не только задал Толстому этот вопрос, явно вызванный чтением «В чем моя вера», но сам же и ответил на него: «Нет, господи, не могу я послушаться тебя! Сяду я на коня, возьму копьё в руки и

поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости, а дал ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не тебя!».

Утвердительность ответа подтверждена еще тем, что художник Гельфрейх считает нужным и сам согласиться со своим героем и дать высокую оценку его историческому «противлению»: «Илья и евангелие! Что общего между ними? Для этой книги нет большего греха, как убийство, а Илья всю жизнь убивал. И ездит-то он на своем жеребчике, весь обвешанный орудиями казни — не убийства, а казни, ибо он казнит. А когда ему не хватает этого арсенала, или его нет с ним, тогда он в шапку песку насыпает, и им действует. А ведь он святой. Видел я его в Киеве. Лежит вместе со всеми, и справедливо».

Все это — прямой отклик на книгу Толстого. Художнику Гельфрейху понадобилось написать странную картину (товарищи ему справедливо возражают: «хорошая картина, только это лучше рассказалось, чем напишется красками на полотне») только потому, что Гаршину не в мочь было обойти молчанием книгу Толстого: для развития повести вся история с Ильей Муромцем — излишний балласт. В книге Толстого Гаршин нашел доведенное до конца изложение тех идей, которые занимали такое центральное место в их беседе 1880 года. Теперь, когда Гаршин находил в себе больше противления, чем сочувствия им, он решил опять увидаться с Толстым.

Гаршин знал, что Толстой о нем помнит. 4 февраля 1884 года Всеволод Михайлович писал матери: «От Фаусека получил очень милое письмо из Москвы; был он там у Льва Ник. Толстого и описывает свиданье. Меня очень тронуло, что Толстой меня помнит. Больше всего заинтересовало его, что я занимаюсь переплетеньем книг, и он очень много расспрашивал В. А. об этом»¹.

3 января 1885 года В. Г. Чертков писал Л. Н. Толстому (в нежданном письме): «На-днях я познакомился с Гаршиным, и он обещался безотлагательно написать для нас [т. е. для издательства «Посредник»] рассказ... Гаршин скоро собирается в Москву и хочет навестить Вас». Гаршин поехал в Москву на свидание с Толстым, но Толстой около 28 января уехал в Ясную Поляну и вернулся лишь 4 февраля; в этот неудачный промежуток Гаршин и был в Москве; 20 февраля он с сожаленьем писал В. М. Латкину: «Ездил в Москву повидаться с Л. Н. Толстым, не удалось. Толстой уехал

¹ Письмо это не было издано.

в деревню»¹, и тут же признавался: «Я чувствую настоятельную потребность говорить с ним. Мне кажется, что у меня есть сказать ему кое-что». Сказать «кое-что», очевидно, значило возразить на то, что взволновало Гаршина в книге «В чем моя вера». О ней-то и следует далее прямой отзыв Гаршина: «Его последняя вещь ужасна. Страшно и жалко становится человека, который до всего доходит «собственным умом»»².

Было ли это полным отступлением от того, что говорил и в духе чего пытался действовать Гаршин в 1880 году?

Говоря о религиозно-философских книгах Л. Н. Толстого, В. А. Фаусек пишет: «Всеволод Михайлович внимательно читал их, интересовался всем, что выходило из-под пера Льва Толстого, но не соглашался с его выводами. Самая сущность учения Л. Н. Толстого казалась ему ошибочной, как учения, *стремящегося построить жизнь на рассудочной почве*; между тем, жизнь управляется, по мнению Всеволода Михайловича, главным образом, страстями людей, и пороки и несчастья человеческой жизни не от того происходят, что люди не понимают умом, что хорошо и что дурно. Учение

¹ След этого посещения остался в письме Л. Н. Толстого к жене (оно не датировано, но поддается точной датировке: 2 февраля 1885 года): «По тому, что ты написала о Гаршине, я не жалею, что не видал его. И вообще я так много принужден видеть людей в Москве, что чем меньше, тем легче. Мне всегда кажется, что я совсем не нужен им» («Письма Л. Н. Толстого к жене. 1862 — 1910», изд. 2-е, М. 1915, стр. 252).

Причиной этого несколько неожиданного отношения Толстого к Гаршину является, кроме усталости от людей, еще тот отзыв о Гаршине Софьи Андреевны, который и лег в основу суждения Толстого. Об отзыве этом мы можем судить по примечанию, которым Софья Андреевна снабдила это место письма своего мужа: «Вероятно, Гаршин был в Хамовниках, желая видеть Л. Н., и произвел почему-нибудь неблагоприятное впечатление на меня. Но известно одно, что Гаршин в феврале 1885 года был в здоровом периоде» (там же). Наоборот, в изображении И. Л. Толстого впечатление Софьи Андреевны от Гаршина в этот его приезд было иное. «Он был грустен, молчалив и пробыл у нас недолго, — вспоминает Илья Л. Толстой. — Мама спросила его, отчего он так мало пишет. «Разве можно писать, когда весь день я занят своей службой, от которой болит и тупеет голова?» — отвечал он с горечью и задумался. Мама стала расспрашивать его о его частной жизни и отнеслась к нему очень тепло и сочувственно. Меня и тогда поразили его большие, красивые глаза, глубоко оттененные длинными ресницами, и я невольно сравнил их с теми глазами, которые я у него видел раньше. Они были все те же; но тогда в них светилась энергия и смелость, а теперь они были грустные и задумчивые. Жизнь отняла у них блеск и взамен его заволокла их целеной печалью» (Илья Толстой, Мои воспоминания, стр. 154—156).

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 54.

о «непротивлении злу» было ему несимпатично: он не одобрял Толстого за презрение к «историческому взгляду на жизнь». Он любил ссылаться при этом на русскую историю, на нашествие татар, например, и применять к таким явлениям теорию непротивления злу, в виде *reductio ad absurdum*¹. Яркий пример такой ссылки на историю для опровержения теории непротивления злу Гаршин дал в эпизоде об Илье Муромце.

Однажды, в пылу резкой, вызванной личными причинами, эпистолярной полемики Евгений Гаршин обвинил Всеволода Михайловича в толстовстве,—и тот столь же резко возражал против этого: «Защищать драму Толстого и признавать его благоглупости и особенно «непротивление» — две вещи совершенно разные. Тут ты опять наворачиваешь на меня мне совершенно не принадлежащее. Очень любя Черткова, я в теоретических рассуждениях ни в чем с ним и с Толстым не схожусь. Многие в их речах мне прямо ненавистно (отношение к науке, например); если ты этого не знал, можешь спросить у Черткова при случае: он скажет тебе, что меня «ихним» считать невозможно. В твоих упоминаниях о Толстом я снова вижу желание оскорбить и раздражить»².

В этих беспокойных словах — как будто полное отрицание даже и тени единомыслия с Толстым и его последователями: «в теоретических рассуждениях ни в чем не схожусь»³.

Но, высказывая и печатно, и письменно, и в беседе с друзьями отрицательное отношение к основной этической идее Толстого и к целой системе его этики, был ли Гаршин последовательно и действительно так чужд ей в последние годы своей жизни, как он заявил это в резком письме к брату?

В этом должно усомниться.

Как раз в самые последние годы Гаршина (1886—1888) влияние нравственных идей Толстого, уже не говоря о художественном его воздействии, особенно ярко сказывается в

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 101.

² Неизданное письмо от 4 июня 1887 года.

³ В письме ко мне от 16 декабря 1932 года И. И. Горбунов-Посадов вспоминает: «Помню, как, при мимолетном свидании у А. Н. Плещеева, Гаршин, упомянув с симпатией о «воронежском помещике» Черткове, говорил, что у него была с ним дискуссия о том: категорически следует ли абсолютно во всех случаях говорить правду или могут быть случаи допустимости неправды в известных обстоятельствах. Чертков стоял на недопустимости, Гаршин — на допустимости».

лучшем выразителе жизненчувствия писателя — в его творчестве.

В эти годы написаны «Сказание о гордом Аггее» (в начале 1886 года; впервые появилось в апрельской книжке «Русской мысли») и «Сигнал» (конец 1886 года; напечатан в январской книжке «Северного вестника» 1887), — два произведения, которые не только по художественным приемам, но и по своей идейной основе могли бы занять место среди «народных рассказов» Л. Толстого середины восьмидесятых годов, т. е. произведений, ярче всего выражающих его религиозно-нравственные взгляды, — рассказов, писанных с прямою целью пропаганды среди крестьян и рабочих. Нет сомнения, двух этих рассказов Гаршина не существовало бы, если бы не могучее художественное и идейное влияние «народных рассказов» Л. Толстого.

«Сказание о гордом Аггее» — самая последовательная и показательная проповедь о непротивлении. Правитель Аггей, за гордость и властолюбие, проходит на уроках несчастья и бед показательную школу обучения кротости, терпению и непротивлению. Когда ангел находит, что курс обучения пройден хорошо, он возвращает правителю власть: «Возьми мантию правителю, возьми меч и жезл, и шапку правителю и правь народом кротко и мудро, и будь отныне братом народу своему». Но Аггей, вкусивший всю сладость непротивления, решительно отказался от всякой власти, даже «кроткой и мудрой». «Нет, господин мой, — твердо перечит он ангелу, — не послушаюсь я твоего веления, не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантии. Не оставляю я слепых своих братьев... Я... прилепился душою к нищим и убогим». Это — тот самый принципиальный отказ «от меча», к которому Гаршин звал когда-то Лорис-Меликова: Аггей «преломляет» всякий «меч», даже держимый рукою кроткою и мудрою.

Сюжет гаршинского «Сказания» заимствован из народной легенды, но Гаршин изменил конец легенды: наказанный за гордость правитель, по легенде, через три года возвращается на царство, прощенный богом, и превращается в доброго и мудрого царя. Когда Гаршин, на заседании Неофилологического общества в Петербурге, прочел свое переложение старинной легенды, на него напали за изменение ее окончания: «Молодежь спорила с В. М., — вспоминает И. А. Шляпкин, — и указывала, что это буддизм, что это личный эгоизм и что Аггей, как мудрый царь, больше бы мог внести добра в жизнь, чем как простой нищий». Гаршин не оправдывался,

но при выходе с заседания сказал Ф. Д. Батюшкову: «Я не знаю, как у меня сложился другой конец. Это делается бессознательно. Сюжет мне задал в голову, я переложил его и не мог закончить иначе. Просто, мне кажется, что это выше»¹.

Чтобы понять как должно значение этой перемены, внесенной Гаршиным в сказание о злом правителе, следует вспомнить, что одновременно с Гаршиным потянулся к той же легенде и сам Толстой, видя в ней емкую форму для выражения своих идей: Толстой в это время писал пьесу для народного театра на сюжет о гордом правителе. Ни Гаршин, ни Толстой не знали, что одновременно работают над одним и тем же сюжетом. Со своим «Аггеем» Гаршин ознакомил редакционный кружок «Посредника». П. И. Бирюков рассказывал мне, что «Сказание» произвело сильное впечатление: «Мы точно слышали новый рассказ Льва Николаевича», определил он это впечатление. Это значило, что в рассказе нашли выдержанную идеологию Толстого, облеченную в форму, сходную с народными его рассказами. 6 апреля 1886 года В. Г. Чертков писал Толстому: «Гаршин написал прекрасно «Правителя Аггея». Он вложил туда все хорошее, чем он владеет: теплоту, нежность. Он сначала появится в «Русской мысли», и мне очень интересен Ваш отзыв»². Ответ Толстого неизвестен, но он ясен по последующему: «Сказание» было решено напечатать в «Посреднике», а работу свою над пьесой на тот же сюжет Толстой оставил навсегда. «Сказание» Гаршина, очевидно, настолько удовлетворило Льва Николаевича (как раньше Черткова и Бирюкова) с идейной и художественной стороны, что он счел свою работу над тем же сюжетом излишней; Толстой как бы авторизовал гаршинский рассказ. Цензура отнеслась к «Сказанию» Гаршина как будто к произведению самого Толстого: «Сказание», как это часто бывало с «народными рассказами» Толстого,— беспрепятственно прошло в толстом журнале, недоступном для крестьянских и рабочих масс, но было запрещено для отдельного копеечного издания. «Посреднику» удалось выпустить «Сказание» лишь в 1900 году, но и то без обозначения фирмы— «Посредник», а с одним лишь порядковым номером (380) своих народных изданий. Так

¹ См. сообщения И. А. Шляпкина— «Русский библиофил» 1913, кн. IV, стр. 84 и Ф. Д. Батюшкова— «Современный мир» 1908, № 4, стр. 99.

² С. М. Брейтбург, Неизданная пьеса Толстого, сб. «Толстой и о Толстом», под ред. Н. Гусева и В. Черткова, вып. II, М. 1925, стр. 8.

долго боялась цензура пустить в народ рассказ Гаршина, видя в нем произведение, столь же резко колеблющее самую идею власти, как и многие притчи Толстого: в гаршинском рассказе цензура учуяла то же требование «преломления меча», за которое, вплоть до революции 1905 года, были под запретом для народного читателя подобные рассказы и сказки Толстого.

Другой рассказ Гаршина — «Сигнал» — настоящий pendant к «Сказанию о гордом Аггее». Его можно было бы назвать «Сказанием о гордом Василии». Герой рассказа, железнодорожный сторож Василий — тоже «гордый» и тоже «противленец». Он никак не хочет сносить и терпеть обид, чинимых начальствующими и командующими в жизни. «Бедному человеку, — рассуждает он, — какое уж житье! Едят тебя живодеры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь — выбросят, как жмыху какую свиньям на корм».

Илье Муромцу в 1884 году Гаршин не только разрешал «противление», но восхвалял его за это, как за величайший подвиг. Сторожу Василию, рвущемуся к «противлению» своим социальным обидчикам, в 1886 году «противление» уже запрещено.

Сосед сторожа Семен усиленно поучает его «непротивлению». Уроки эти не действуют на Василия: он борется за свои права и за свой труд. Не найдя себе правосудия у «командующих», «гордый Василий» в злобе и гнѣве отворачивает рельс перед проходом пассажирского поезда. Добрый непротивленец Семен с опасностью для жизни останавливает поезд. Этим самопожертвованием он не только спасает жизнь пассажирам, но и душу «гордому Василию»: «Обвел Василий всех глазами, опустил голову. — Вяжите меня, — говорит, — я рельс отвортил».

Рассказ, как передавал мне П. И. Бирюков, прямо писался для «Посредника», но, ради цензурного обезопасения, проведен был через толстый журнал; маневр этот на сей раз удался, и в 1887 году «Сигнал» вышел в издании «Посредника» и много раз с тех пор переиздавался. Можно подивиться, до какой степени Гаршин, без ущерба для своего творчества, проникся в этом рассказе не только художественными приемами второй, народной, манеры Толстого, но и надыхался самой атмосферой идей Толстого восьмидесятых годов. Если б мы знали только самый рассказ, не зная имени автора, мы бы приняли его за произведение либо самого Льва Николаевича, либо кого-нибудь из его единомышленников.

В издательстве «Посредник» Гаршина — вопреки его уве-

рениям — считали своим. В. Г. Чертков был связан дружбою с Гаршиным и считал его, в его литературной деятельности и умонастроении, близким к идеям Толстого. В 1909 году В. Г. Чертков высказывал мне мысль, что, не умри Гаршин так рано, он еще теснее подошел бы к Толстому и кругу его единомышленников. Это указание признанного блюстителя догмы учения Толстого находило подтверждение у других друзей Толстого, близко знавших Гаршина, с которыми мне приходилось беседовать по этому поводу: у А. К. Чертковой, П. И. Бирюкова, И. И. Горбунова-Посадова. Нерасположенный к «толстовству» Фаусек признает однако: «Это [неприятие учения Толстого. С. Д.] не мешало ему [Гаршину] сочувствовать целям и деятельности «Посредника»¹. Фаусек не замечает противоречия между этим и предыдущим своим утверждением, будто Гаршин отрицал «самую сущность учения Толстого». «Цели» деятельности «Посредника» — ни для сотрудников, ни для читателей, ни для друзей, ни для врагов (Победоносцев, цензура и пр.) — не составляли сомнения: все знали, что издательство служит целям распространения жизнепонимания, выраженного в религиозно-философских сочинениях Толстого, пользуясь для этого художественными произведениями самого Толстого и других авторов, близких ему по духу. Если Гаршин, точно, сочувствовал «целям и деятельности» «Посредника», которые он не мог не знать от того же Черткова, то это было бы невозможно, если бы он был действительно так далек от жизнепонимания Л. Толстого, как это представляет Фаусек и как это иной раз казалось самому Гаршину.

По воспоминаниям В. Бибилова, часто выдавшегося с Гаршиным в 1887 году, «время это, до летних месяцев, было последним счастливым временем в жизни Всеволода Михайловича. Увлеченный деятельностью общества «Посредник», издания которого на первых порах расходились в массе экземпляров, Гаршин хотел видеть в ней то настоящее живое дело, которое захватило бы всего его и которого он так жадно искал всю свою жизнь. Он издал несколько рассказов в этой форме, написал даже особый рассказ «Сигнал», пропагандировал [«Посредник»] в литературных кружках, и для него было личной обидой, если кто-нибудь сомневался и выражал сомнения в полезности этого предприятия»².

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 101.

² Гаршин, Сочинения, 1910, стр. 71.

В 1886 году вышел в «Посреднике» первый рассказ Гаршина со специально-опрошенным заглавием: «Четыре дня на поле сражения. Рассказ солдата с отрезанной ногой», с рисунками М. Е. Малышева. Кружок Черткова издавал его, как антивоенный рассказ, и Гаршин радовался его выходу, с торжеством извещая Фаусека: ««Четыре дня» прошли в цензуре и с картинками, и на-днях выйдут в посредственном издании (запишите каламбур)»¹. В следующем году появился специально сокращенный для «Посредника» другой рассказ «Медведи» — он издавался также с программной целью: «защита животных и вегетарианство» было всегда одним из параграфов толстовско-посреднической программы. В 1891 году в сборнике для детского чтения «Царь Мидас и другие сказки, рассказы и стихотворения» (№ 103, М. 1901) «Посредник» напечатал «Сказку о жабе и розе».

Своими рассказами, старыми и новыми, Гаршин входил в самое существо программы и деятельности «Посредника».

Гаршин принял участие и в чисто религиозно-проповеднической деятельности «Посредника». В самом начале «Посредника» (1886) издательство решило издать серию «народных картинок» для широкой борьбы с рыночным лубком. Одной из таких «картинок» было воспроизведение картины Бугро «Бичевание Христа». Текст к картине писали совместно Гаршин и Толстой. Непосредственно за текстом Гаршина, повествующим о бичевании Христа, следуют морально-поучительные выводы, писанные Толстым, где читаем: «Когда мы насилуем людей и вымещаем на них злом за зло, когда мы мучаем людей и проливаем кровь человеческую, разве мы не истязуем того, который сказал нам не противиться злему, отдавать рубаху тому, кто тянет с тебя кафтан, прощать брата своего не семь раз, а семь раз семьдесят?».

Это издание «Посредника» имело особую судьбу. По словам В. Г. Черткова, «тогдашняя духовная цензура воспротивилась изданию в России картины, изображавшей Христа в недостаточном, по ее понятиям, достойном виде человека, упавшего на землю и изнемогающего под ударами палачей. Так как издатели особенно дорожили составленным для картины Толстым и Гаршиным пояснительным текстом, то они обратились к И. Е. Репину с просьбой заменить запрещенную цензурой фигуру Христа другим, не оскорбляющим цензурных глаз,

¹ Сб. «Памяти Гаршина» стр. 59. Второе издание этого рассказа было запрещено «Посреднику» цензурою.

изображением. Репин любезно согласился вывести нас из затруднения и исполнить акварельными красками новое изображение Иисуса Христа, которое было вставлено в картину вместо прежней фигуры, и в этом виде она благополучно была пропущена цензурою»¹.

Всматриваясь в черты лица нового Христа, написанного Репиным, без труда угадываешь в них черты лица Гаршина. Тот, кто видел эту Репина к портрету Гаршина (Третьяковская галерея), тот сразу узнает в этом Христе — огромные, грустные глаза Гаршина, его нос, бороду, весь облик.

Это участие Гаршина вместе с Толстым в анонимном тексте, являющемся программным для «Посредника», участие в тексте, предназначенном для самого широкого распространения, свидетельствует о той идейной близости, которая в действительности существовала между Гаршиным и Л. Толстым с его друзьями и последователями.

Для понимания отношения Гаршина к морально-философским идеям Л. Толстого чрезвычайно важно его письмо к В. Г. Черткову, не имеющее даты, но относящееся, несомненно, к 1886—1887 годам: «Дорогой Владимир Григорьевич, благодарю Вас за книги. Я уже прочел последний том (кроме того, что читал прежде). Я должен Вам сказать, что я беру назад почти всё, что говорил Вам. Кажется, беру назад потому, что я судил обо всех этих вещах по отрывкам, сказанным или [врагами] противниками [Льва] Н[иколаевича] или его [друзьями] защитниками. Я не хочу сказать этим, что я согласен; совсем нет: многое, признаюсь откровенно, мне чуждо и, даже больше, ненавистно. А многое, большая часть, так близко и... но теперь (т. е. эти дни, может быть, недели и месяцы) я спорить не буду, потому что это слишком важное дело, а я ошеломлен. Именно ошеломлен. Простите за бессвязность письма: я пишу поздней ночью и очень расстроен. Горячо Вас любящий В. Г.». Письмо написано под потрясающим впечатлением, произведенным на Гаршина чтением запрещенных сочинений Толстого, с которыми ранее Гаршин был знаком лишь по ничтожным отрывкам, проникавшим в печать царской России. Знакомство с морально-философскими идеями Л. Толстого в полном их

¹ «Голос Толстого и Единение» 1918, № 4 (10), на 1 стр. — воспроизведение рисунка И. Е. Репина, на 4 стр. — текст Гаршина и Толстого «Страдания Христа», на стр. 4—5 — заметка В. Г. Черткова «По поводу картины «Страдания Христа».

объеме «ошеломило» Гаршина и, отказываясь, по важности дела, от полного суждения о них, он заявляет однако Черткову: «А многое, большая часть, так близко...». Эта «близость» к Толстому подтверждается всем уклоном художественного творчества Гаршина середины восьмидесятых годов.

В 1887 году вышла в издании «Посредника» «Власть тьмы». Еще до выхода ее из печати Гаршин познакомился с нею, «выучил почти наизусть, постоянно приводил выдержки из пьесы, судил ей колоссальный успех»¹, устраивал чтение драмы у себя. «Власть тьмы», — рассказывает Фаусек, — он встретил с величайшим энтузиазмом. Кажется, один только раз в жизни Гаршину пришлось выступить в качестве оратора, и это было именно по поводу «Власти тьмы». В одном небольшом обществе была прочитана автором рецензия на «Власть тьмы», возмущившая Всеволода Михайловича, и он возражал на нее целую речь, произнесенную экспромтом. Речь эта была опровержением рецензии и подробным разбором «Власти тьмы», и говорил он превосходно. Казалось, он вложил всю душу в защиту своего любимого писателя; в сильном волнении, он говорил быстро и страстно, сыпая цитатами; но, несмотря на страстное чувство, на негодующий, восторженный, взволнованный тон его речи, — тон, невольно забиравший за сердце и подымавший нервы, он с строгой логической последовательностью приводил один аргумент за другим, и речь его вышла стройною, законченною, логически цельною. Автора рецензии и многих слушателей он, впрочем, не убедил; но никто уже не возражал ему. Он защищал пьесу Толстого против обвинения в безнравственности; по его мнению, «Власть тьмы» была настоящая, истинная трагедия, как ее понимали греки: по Аристотелю, трагедия должна вызывать в зрителе «ужас и сострадание»; «Власть тьмы» именно и вызывает ужас и сострадание»². Сколько бы ни отнести из этого восторженного преклонения пред драмою Толстого на долю ее художественной мощи и трагической силы, все-таки немалую долю придется отнести и на ту идейную атмосферу, которою окутал Толстой и действие, и героев своей драмы. Если «Власть тьмы» — «трагедия по Аристотелю», как думал Гаршин, то у такой трагедии должен быть «хор» — выразитель идейного пафоса и научения трагедии, а таким «хором» во «Власти тьмы» может быть только Аким — по замыслу Тол-

¹ Сочинения Гаршина, стр. 71.

² Сб. «Памяти Гаршина» стр. 101—102.

стого, вещатель крестьянской правды. И если обличители драмы Толстого, от Победоносцева до широких кругов дворянства, духовенства и буржуазии, обличали ее не только за густой реализм, но и за идейную ее атмосферу, общую с религиозно-философскими сочинениями Толстого, то и защитник Толстого Гаршин, в своей решительной апологии, не мог не являться защитником идейного стержня драмы, ее «хора», руководимого Толстым-мыслителем.

26 марта 1888 года, над могилой Гаршина, И. И. Горбунов-Посадов, от лица «Посредника», произнес речь, в которой говорил о Гаршине, как об одном из «первых откликнувшихся на могучий призыв нашего пахаря насытить изголодавшуюся народную душу»¹.

«Мне,— напоминает И. И. Горбунов-Посадов в письме ко мне,— было поручено тогда товарищами писателями возложить на его могилу венок из красных цветов, которые, помню, жгли мою душу своим пламенем. На могиле его я роздал несколько пачек изданных «Посредником» «Сигнала» и «Медведей».

И речь Горбунова-Посадова на могиле Гаршина, и эта задача его сочинений — лишние свидетели того единения, которое было между ближайшими друзьями-последователями Л. Толстого и Гаршиным.

Из сопоставления этих pro и contra в отношении Гаршина к Толстому в последнее пятилетие его жизни можно, кажется, сделать такой вывод.

В 1880 году он пришел в Ясную Поляну, как один из первых паломников к Толстому, учителю жизни. Свидание раскрыло действительную близость между горячими исканиями Гаршина и тяжелым переустройством самого себя, предпринятым тогда Толстым. Эту близость подтвердил сам Л. Н. Толстой в тех сообщениях, которые получены были мною от него в 1906—1909 годах. Сильнейшее душевное потрясение, испытываемое тогда Гаршиным, закончившееся недугом, выказало эту близость большей, чем она была в действительности, и раздуло в Гаршине желание быть прямым проповедником нового жизнепонимания. Было естественно, что, по выздоровлении, Гаршин, боясь пламени, только что едва не спалившего его, преуменьшил сначала и силу того огня, который оставался все-таки несомненно горящим в нем. К концу жизни, в 1886—1887 годах, если не ум, то его «душа», чувство и воля были освещены тем же огнем, что и у Толстого,

¹ Сб. «Красный цветок», стр. 9.

и он мог уже заявить Черткову, что «большая часть» учения Толстого ему «близка».

Здесь, кажется, лежит разгадка того, что, если Л. Толстой чувствовал его *своим* в 1880 году, то близкие его друзья и последователи точно так же чувствовали Гаршина *своим* в 1886—1888 годах, в эпоху наиболее активной деятельности толстовцев.

От этого отношение его к Гаршину-писателю представляется исключительным; он принимает его всего, почти безоговорочно. Автор специальной работы «Толстой о русской литературе», Н. К. Гудзий, делает такой вывод, которого ему почти не пришлось делать об отношении Толстого к другим русским писателям: «С неизменной симпатией относился Толстой к творчеству Гаршина с самого начала его литературной карьеры. Он выделял его среди других писателей и, когда заговаривал о нем, говорил с явным воодушевлением»¹.

Однажды Толстой писал жене, после чтения современных книг и журналов: «Ужасно то, что все эти пишущие и Потапенки, и Чеховы, и Золя, и Мопассан даже не знают, что хорошо, что дурно; большею частью, что дурно — то считают хорошим, и этим, под видом искусства, угощают публику»².

Гаршин для Толстого был одним из тех немногих, кто знает, что хорошо, что дурно.

В этом «знании», как уже было сказано, Толстой чуял его близость с собою, и за это «знание», которому подчинил свое собственное художественное творчество, ставил Гаршина-художника выше всех его современников.

III

В. М. Гаршин и Глеб Успенский

С неизданными письмами Гаршина к Успенскому

1

Об отношениях Гаршина к стану революции было говорено выше. Отношения Успенского к революционерам были ближе. Он участвовал в журнале П. Л. Лаврова «Вперед».

¹ «Эстетика Льва Толстого» сб. под ред. П. Н. Сакулина, М. 1929, стр. 232.

² «Письма к жене», М. 1915, стр. 434.

«Глеб Успенский был знаком, отчасти даже дружен со многими видными членами партии «Народной воли», — сообщает народоволец А. И. Иванчин-Писарев: Желябов, Кибальчич, Перовская всегда находили у него радушный прием».

Об отражениях революционного движения начала восьмидесятых годов в творчестве Гаршина мы уже знаем: не веря в его успех, он преклонялся пред его героизмом и нравственной красотой: и «Гордая пальма», и большой освободитель человечества из рассказа «Красный цветок» принадлежат к трогательнейшим и благороднейшим героям полусимволического творчества Гаршина. Гаршин-писатель был любимцем своего поколения, как об этом писал мне В. Г. Короленко.

Таким же центральным писателем для своей эпохи был и Глеб Успенский. В очерке «Выпрямила» он отвел несколько страниц изображению Веры Фигнер, а другого виднейшего народовольца, Г. Лопатина, избрал в прототипы героя своей повести «Удалой добрый молодец».

Оба писателя верно почували и приход нового класса на арену русской истории. В «Художниках» Гаршин дал жуткую картину набережной, кишашей тяжким трудом портовых рабочих, и создал потрясающий образ заводского рабочего — «Глухаря», заклепщика котлов: клепка производилась на груди рабочего, скорчившегося внутри котла. Художник, создавший этот страшный образ, обращается к нему в тоске: «Я вызвал тебя... из душевного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое!». На вопрос: «Вы сами видели этого глухаря?» Гаршин отвечал: «Да, я был на заводе», и сделал признание, вскрывающее социальный исток гаршинской скорби: «Если я люблю глухаря, как могу я любить тех, кто упрятал его в этот страшный котел?» — «А кто же его туда упрятал? кто, как не мы сами?» — «Конечно, мы сами создаем весь яд, весь ад, все страдания нашей жизни. Мы поддерживаем зло тем, что терпим его»¹. Искусство Гаршина — искусство социального покаяния.

Г. Успенский в отличие от других народников ярко почувствовал пришествие рабочего в русскую историю и дальше всех отошел от обычных народнических воззрений на крестьян-

¹ В. Микулич, Всеволод Гаршин, «Исторический вестник» 1914, № 1, стр. 129.

ство. Эта особенность Успенского не раз отмечалась В. И. Лениным и Г. В. Плехановым¹. В непропущенной цензурой статье «Горький упрек» Успенский признавал, по поводу известного письма К. Маркса к Н. Михайловскому, что «Маркс осветил весь ход нашей экономической жизни, начиная с 1861 года» и что «загробное слово Маркса (письмо было опубликовано после его смерти) прямо указывает на ненормальное состояние нашей мысли и совести»². В ряде очерков и писем Успенский отвечал на этот «Горький упрек» изображением пришествия «Господина Купона» в русскую жизнь и чутко прислушивался к первым шагам рабочего в действительности семидесятых — восьмидесятых годов³.

Как относился Глеб Успенский к творчеству В. Гаршина и как последний относился к творчеству первого?

Когда в 1888 году Гаршин погиб, бросившись в припадке болезненного отчаяния в пролет каменной лестницы, Успенский писал о нем: «Он должен был всю жизнь испытывать неумолимую настойчивость в неразрешимости всех тех жгучих вопросов, которые он уже пережил. Жизнь не только не сулила хотя бы малейшего движения от глубоко сознанного зла хоть к чему-нибудь лучшему, но, напротив, ожесточалась на малейшие попытки не только хорошо думать, но и хорошо делать». Считаюсь с цензурой, Успенский утверждал здесь: Гаршин всю жизнь мог видеть только непрерывное отягчение жребия трудящихся классов и усиление политического гнета, — и тяжело страдал от этого. «Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, каждое мгновение, остановившаяся в своем течении жизнь была по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Один и тот же ежедневный «слух», и всегда мрачный и тревожный (конечно, «слух» о новых арестах, ссылках, преследованиях печати и т. п. С. Д.); один и тот же удар по одному и тому же больному месту, и непременно по такому, которому надобно «зажить», поправиться, отдохнуть от страдания; удар по сердцу, которое просит доброго ощущения, удар по мысли, жаждущей права жить, удар по совести, которая хочет ощущать себя.— Вот что дала Гаршину жизнь».

¹ См. мою статью «Неосознанный марксист-художник», «Сибирские огни» 1930, № 2.

² В. В. Буш, Литературная деятельность Гл. Успенского, «Труды Пушкинского дома», г. Балаково 1927, стр. 113 — 117.

³ Успенский первый обратил внимание на поэзию нового класса — заводские частушки (статья 1889 года «Новые народные песни»).

Но то же самое дала она Успенскому, и в некрологе Гаршина он написал некролог самому себе. Глубокое неприятие неправды русской действительности, горькое негодование на жестокость командующих классов и чуткая отзывчивость на беды классов командуемых, писательство социального покаяния истощили душевные силы Гаршина, а немного позже и Успенского.

Гаршин высоко ценил Успенского как писателя, познакомившись с его сочинениями еще на школьной скамье. Когда летом 1878 года он гостил в имении своей тетки А. Е. Костроминой в Орловской губернии, у него происходили частые беседы на литературные темы с гостившей там О. Н. Хохловой. Гаршин однажды спросил ее: «Зная так хорошо Толстого, знаете ли вы Глеба Успенского?». Она не знала, и Гаршин сказал: «Как же это можно? Не знать такого писателя! Прочтите обязательно! Не знать величайшего русского писателя! Это возмутительно!»¹.

Эта своеобразная гипертрофия любви к Г. Успенскому перешла у Гаршина впоследствии в более спокойное, но неизменное чувство привязанности к личности и творчеству этого писателя.

Место и время их первого знакомства определяется легко: место — редакция «Отечественных записок», время — вероятно, зима 1879/80 года: в начале 1880 года Успенский, как видно из его очерка «Смерть Гаршина», был уже знаком с ним. В январе 1880 года Успенский устроил Гаршина петербургским художественным корреспондентом «Русских ведомостей»; в полном собрании сочинений Гаршина, выходящем под редакцией Ю. Г. Оксмана, появятся два его отчета о выставках².

Более частые встречи Гаршина с Успенским возобновились с 1882 года, когда Гаршин, после болезни, появился в Петербурге. Но еще в начале этого года имя Успенского

¹ Запись Э. В. Работновой со слов О. Н. Хохловой. Здесь уместно вспомнить, что с любовью Гаршина к Успенскому принуждены были считаться даже тогда, когда он, с трудом оправлявшийся от душевного недуга, был подвергнут в имении дяди В. С. Акимова лечебному режиму, исключавшему всякие умственные занятия. По рассказу В. С. Акимова, Гаршину давали только взглянуть на свежие журналы «и, как только он кончал своих излюбленных Щедрина и Г. И. Успенского, я книги прятал» (Полное собрание сочинений В. М. Гаршина, 1910, стр. 17).

² Первым биографом Гаршина, Я. В. Абрамовым, взято было под подозрение одно место из письма Гаршина к А. Я. Герду из Тулы, от 13 марта 1880 года, где Гаршин писал: «Нужно было разругаться с «Русскими ведомостями» (?), сойтись с «Русским курсером» (сб. «Памяти

встречается не раз в переписке (неизданной) Гаршина с родными. 15 января 1882 года выздоровевший Всеволод Михайлович пишет матери: «Не могу не заступиться за Глеба Ивановича, которого я очень люблю и уважаю и к которому Вы отнеслись так жестоко несправедливо... Гл. Ив. пьет — сущая правда, но, мама, можно ли строго судить за этот порок? Мало людей, о которых я вспоминаю с такой любовью и благодарностью (быть может, это просто детское чувство), как об Лъве Николаевиче, а уж он ли не пил? Это горе, а не порок, и особенно у нас русских». Прочтя «Власть земли», Всеволод Михайлович делится впечатлением с братом Евгением: «Боже мой, как хорошо Успенский изобразил своего Ивана во «Власти земли»! Я давно ничего не читал с таким наслаждением!» (неизданное письмо от 24 февраля). Но, при такой любви к художнику народнику Успенскому сам Гаршин не чувствовал себя созданным для подобного творческого пути, и 22 марта возражал брату: «Интересен «народ» только как материал для исследований вроде Глеба Ивановича. А я этого не умел никогда и не умею» (неизданное письмо). Но «исследования» Успенского Гаршин продолжал любить и высоко ценить.

В 1883 году он писал своему приятелю: «Читаю я теперь все беллетристику. У нас в литературе за эти месяцы ничего нет. Один Глеб Иванович ужасно рассмешил, рассказывая, как при приготовлении икры на доску садится российский мужик и, нажимая на нее своими природными дарованиями, без всякого посредства интеллигенции и Запада, производит ценность в 100 руб.»¹ В 20-х числах июня 1883 года Гаршин собирался с Успенским и художником Мальшевым в художнический поход с целью наблюдения народной жизни, «в экскурсию на богомолье», — по определению самого Гаршина. «В Тихвине празднуют 500-летие явления Тихвинской иконы божьей матери, так все мы хотим посмотреть на сие торжество и свойственные ему чудеса». Поход предпринимался по почину Глеба Успенского, но, по словам неизданного письма Гаршина

Гаршина», стр. 34). Абрамов отметил это место знаком вопроса и отнес, вероятно, к фактам душевного заболевания Гаршина, так как никаких статей Гаршина в «Русских ведомостях» не знал. Указанный выше факт вычеркивает и этот аргумент из числа многих других, какими обычно подтверждают сплошную будто бы ненормальность Гаршина в марте — апреле 1880 года.

¹ Имеется в виду очерк Успенского «Из путевых заметок» («Отечественные записки» 1883, № 5); в Собрании сочинений — «На Кавказе».

к брату Евгению от 2 июля 1883 года, «Глеб Иванович, за которым мы заезжали, не мог ехать». Однако «заезд» к Успенскому не был безрезультатен. Успенский поведал Гаршину при этом свидании свою застарелую житейскую боль, свою крайнюю писательскую нужду, посвятив Гаршина в свои денежные дела.

2

Дела эти были в печальном положении. Это «положение» интересно не для одних читателей и почитателей Успенского; то, что он открыл Гаршину, открывает любопытную страницу из экономики писателя дореволюционной России.

Глеб Успенский принадлежал к числу писателей-разночинцев, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов сменивших писателей-помещиков и крупных служилых людей. Экономика писателя-барина (без различия направлений: Тургенева, Герцена, Фета, Л. Толстого и др.) или писателя-крупного чиновника (Гончарова, Писемского и др.) строилась не на доходах от литературы: литература могла приносить крупный доход, могла и вовсе его не приносить (так, Фет в шестидесятых — семидесятых годах почти не печатался, Гончаров печатал по роману в десятилетие; Тургенев временами удалялся от литературы и т. д.).

Муки и беды литературного пролетария и поведал Гаршину Глеб Успенский, тогда уже писатель с широкой известностью и двадцатилетней деятельностью за плечами.

Эти беды были велики и непрерывны. В 1885 году Успенский писал своему издателю Павленкову: «До 1873 года, как и до сего дня, я жил литературным трудом исключительно; у меня были в это время жена и сын; но, кроме своей семьи, я имел еще на шее после смерти отца — мать, четыре сестры и три брата, буквально оставшихся без всяких средств, как и я. Я один во всей этой куче народа зарабатывал кое-какие деньги, которые и должен был делить буквально по грошам, то матери 3 руб., то брату в Лисино 2 руб., то дома 5 руб., то в Липецк другому брату 1 руб., то третьему на книги сколько-нибудь... Я бился, как рыба об лед, и мучился и за себя, и за них, и должен, — словом, лучшее юношеское время моей жизни провел в тяжких и самых реальных хлопотах. От природы у меня было дьявольское здоровье и большая впечатлительность. Трудно было узнать, что у меня на душе

ад»¹. Такова была статья расходов литературного пролетария. Какова же была статья доходов?

Уже с первых лет своей деятельности Успенский работал в виднейших журналах — «Русском слове», «Современнике», «Отечественных записках», не считая многих других изданий, и работал так много, что ко времени встречи с Гаршиным мог объединить написанное в тринадцати томах, вышедших в 1866—1882 годах, при чем переиздана была только часть написанного. Производительность Успенского была велика. Успех Успенского был тоже велик: уже в конце шестидесятых годов это был один из самых читаемых писателей. Постоянное переиздание его рассказов отдельными книгами — лучшее доказательство, что у Успенского был свой читатель-покупатель. Эти отдельные издания прежде напечатанных сочинений могли бы быть чистым доходом писателя, его «рентой». Вот каковы были размеры этой «ренты». До 1875 года Успенский выпустил шесть книг у разных издателей-коммерсантов (главным образом, у Базунова); в числе этих книг были широко популярные «Нравы Растеряевой улицы» и «Разорение», — и Успенский получал с издателей по 7—8 рублей за печатный лист! «К 1874 году, — рассказывает сам Успенский, — мои дела были в весьма запутанном положении. Я был должен ростовщице 400 руб., имел долги разным товарищам, все написанное мною продавалось по 75, по 100, по 50 руб. за том Генкелю, Базунову, Печаткину; мне нельзя ни торговаться, ни ждать, — дают 50 руб. — бери, слава богу!» Иными словами, Успенский, признанный писатель, получал за том художественных произведений жалкие гроши. Его гонорар был настоящей кабальной сделкой между издателем-коммерсантом и писателем-пролетарием. Успенский бывал жертвою и прямой спекуляции! его именем. Ему пришлось, по его словам, «занять в Псковском банке такую сумму денег, которая бы покрыла мои частные долги, дала возможность выкупить у Карбасникова право на мои сочинения, проданные на многие годы вперед за 300 с чем-то рублей и выкупленные потом мною за 1100 рублей». Книгоиздатель стало быть, нажил с писателя 800 руб., только спекулируя на росте его известности.

Такова была, с позволения сказать, «рента» писателя. Не

¹ В. Чсшихин-Ветринский, Г. И. Успенский, биографический очерк, ред. П. Н. Сакулина, М. 1929. — В дальнейшем цитаты писем Успенского и 2—3 свидетельства о нем приводятся, в целях экономии места, без повторных ссылок на эту книгу.

ад»¹. Такова была статья расходов литературного пролетария. Какова же была статья доходов?

Уже с первых лет своей деятельности Успенский работал в виднейших журналах — «Русском слове», «Современнике», «Отечественных записках», не считая многих других изданий, и работал так много, что ко времени встречи с Гаршиным мог объединить написанное в тринадцати томах, вышедших в 1866—1882 годах, при чем переиздана была только часть написанного. Производительность Успенского была велика. Успех Успенского был тоже велик: уже в конце шестидесятых годов это был один из самых читаемых писателей. Постоянное переиздание его рассказов отдельными книгами — лучшее доказательство, что у Успенского был свой читатель-покупатель. Эти отдельные издания прежде напечатанных сочинений могли бы быть чистым доходом писателя, его «рентой». Вот каковы были размеры этой «ренты». До 1875 года Успенский выпустил шесть книг у разных издателей-коммерсантов (главным образом, у Базунова); в числе этих книг были широко популярные «Нравы Растеряевой улицы» и «Разорение», — и Успенский получал с издателей по 7—8 рублей за печатный лист! «К 1874 году, — рассказывает сам Успенский, — мои дела были в весьма запутанном положении. Я был должен ростовщице 400 руб., имел долги разным товарищам, все написанное мною продавалось по 75, по 100, по 50 руб. за том Генкелю, Базунову, Печаткину; мне нельзя ни торговаться, ни ждать, — дают 50 руб. — бери, слава богу!» Иными словами, Успенский, признанный писатель, получал за том художественных произведений жалкие гроши. Его гонорар был настоящей кабальной сделкой между издателем-коммерсантом и писателем-пролетарием. Успенский бывал жертвою и прямой спекуляции! его именем. Ему пришлось, по его словам, «занять в Псковском банке такую сумму денег, которая бы покрыла мои частные долги, дала возможность выкупить у Карбасникова право на мои сочинения, проданные на многие годы вперед за 300 с чем-то рублей и выкупленные потом мною за 1100 рублей». Книгоиздатель стало быть, нажил с писателя 800 руб., только спекулируя на росте его известности.

Такова была, с позволения сказать, «рента» писателя. Не

¹ В. Чсшихин-Ветринский, Г. И. Успенский, биографический очерк, ред. П. Н. Сакулина, М. 1929. — В дальнейшем цитаты писем Успенского и 2—3 свидетельства о нем приводятся, в целях экономии места, без повторных ссылок на эту книгу.

выше ее была и его «заработная плата». Ее условия, в начале литературной деятельности Успенского, были не менее «кабальны». В первые 5 лет своей писательской работы мелкие рассказы отдавал он издателям, по его словам, «вследствие крайней нужды, за 3, за 5 рублей».

Но это все — сделки с купцами и предпринимателями-промышленниками. Журналы, в которых печатался Успенский, были: «Русское слово», которое издавал известный радикальный публицист Г. Е. Благодетель, входивший в 60-х годах в центр революционной организации «Земля и воля». Начавши «праветь» в 70-х годах он отразил это изменение своей политической позиции в деловых издательских отношениях, увлекшись личным стяжательством в прямой ущерб сотрудников своего журнала. «Современник» издавал знаменитый поэт Некрасов; «Отечественные записки» издавал до 1877 года он же совместно с Салтыковым-Щедриным, а после смерти Некрасова издателями журнала стали Салтыков, критик Н. К. Михайловский и публицист Г. З. Елисеев. — Для них была ясна не только рыночная, но и идейная и художественная ценность работы Успенского.

По воспоминаниям знакомого Успенского, М. И. Петрункевича, жившего с ним через стену, «Благодетель, издатель «Русского слова», и другие издатели его изрядно эксплуатировали. Благодетель расплачивался по мелочам — рублем по пяти, десяти и настолько настойчив бывал в требованиях от Глеба Ивановича того или иного очерка, что являлся даже ночью лично, так что Г[леб] И[ванович] бегал от него».

Великолепный портрет этого работодателя, от которого стоил эксплуатироваться Успенский, дал Н. В. Шелгунов, долгие годы работавший у Благодетеля в «Русском слове» и «Деле». «Благодетель, — рассказывает он, — относился высокомерно к «барству» и к «барским замашкам». А в то же время жил сам в роскошно отделанной квартире, имел карету, лошадей, два каменных дома, купил имение и одно время завел даже лакея-негра... Благодетель был именно хозяин-буржуа, и его грубость, запальчивость и деспотизм в отношениях к сотрудникам, к рабочим типографии, к фактору и метранпажу Королькову, который прожил у Благодетеля более пятнадцати лет и умер у него почти в типографии. все это было не барством, а настоящею буржуазностью и нередко низкого сорта. От этого-то Благодетель и доходил иногда до столкновений, кончавшихся у мирового. Будь он полированное и сдержанное.

этого бы не случилось, но сущность отношений осталась бы все та же. Это был тот же «капиталист» и тот же хозяин»¹.

Радикальствовавший «капиталист» этот жал и эксплуатировал Успенского, как только мог.

Мудрено ли, что, по оценке самого Успенского, первые годы его писательства прошли «в адских условиях»?

Некрасов рано оценил талант Успенского, и уже в 1865 году пригласил его в «Современник». С 1868 года Некрасов начал издавать «Отечественные записки» и также привлек туда Успенского. Но, по деликатному признанию самого Успенского, в журнале «первые годы тоже было мало уюта». Когда Успенский, в 1871 году, решил поехать за границу, Некрасов дал ему на это денег, конечно, под будущие работы в журнале, но на обратный путь у Некрасова едва могли допроситься денег для Успенского. По рассказу очевидца, публициста Н. А. Демерта, Некрасов «заартачился. Начал говорить, что Г[лебу] И[вановичу] очень трудно будет впоследствии уплачивать забранное вперед, что его, наконец, должна когда-нибудь нужда научить и т. п.». Только после протестов сотрудников Некрасов послал Успенскому сто рублей². По словам Ветринского, «в начале семидесятых годов Успенский получал от редакции 50 руб. в месяц и полистный гонорар, который только впоследствии был сравнен с гонораром Салтыкова; при этом, при пересылке этого месячного жалования почтой, из него на почтовый расход аккуратно вычитали по рублю».

Успенский, вернувшись из-за границы, прося у Некрасова денег под свои работы, должен был заверять его, что деньги «действительно нужны»: «действительно помогут мне работать успешно, а работать хоть в какой-нибудь обстановке, хоть даже в целой, неразорванной рубашке мне будет лучше, и могу я работать действительно: материал у меня есть, нужно только передохнуть и опомниться». «Передохнуть» литературному пролетарию не пришлось: к 1874 году он задолжал Некрасову уже 3—4 тысячи. Он надеялся погасить долг изданием своих сочинений и предложил Некрасову купить их.

¹ Н. В. Шелгунов, Воспоминания, редакция А. А. Шилова, Л. 1923, стр. 278—279. К приведенному отрывку Н. В. Шелгунов делает следующее примечание: «См. дело о нанесении Благосветловым в 1867 году побоев двум рабочим его типографии, окончившееся у мирового и вызвавшее ряд газетных статей».

² Чешихин-Ветринский, Глеб Успенский в его переписке, «Голос минувшего» 1915, № 1, стр. 206—207.

Но Некрасов отказался от издания. Успенский, получив отказ, с отчаянием писал ему: «При всем моем искреннейшем желании стать мало-мальски свободным, я должен неизбежно попасть в руки того же, пожалуй, Базунова, потому что решительно другого исхода нет. Мне ужасно горько, что после 10 лет работы у меня нет условий, при которых бы работа моя могла идти хоть сколько-нибудь лучше; напротив, является полная невозможность продолжать свое дело. Я перед всеми виноват, до того, что ходу мне нет никакого. Базунов может выручать 3—4 тысячи рублей на моих книгах, а я эти самые тысячи должен Вам и не могу заплатить и заработать, ибо если бы я заработал их, я думаю, мне был бы кредит на 250 рублей. Я ровно ничего не понимаю». Это письмо — настоящий вопль литературного пролетария — не имело никакого результата. Успенскому так-таки и пришлось идти к издателю-купцу, и купец выпустил в 1875 году книгу Успенского «Глушь» за грошовую плату, из которой писатель должен был выплачивать свой долг поэту-литературному «предприимателю». Биограф Успенского из рассмотрения положения Успенского в богатейшем журнале своего времени принужден сделать следующий вывод: «Литературные противники «Отечественных записок» даже печатно указывали на положение в них Г. Успенского, как на быющую в глаза несправедливость и, несмотря на возможные возражения, все-таки остается в силе прискорбный факт, что крупнейшая литературная сила лучшего и богатейшего в то время журнала не была принята за правилами журнала в «товарищи», если не по ведению дела, в чем, может быть, не было и надобности, то хотя бы в распределении барышей».

Отношение «Отечественных записок» к Успенскому осталось неизменным и при их закрытии: ««Отечественные записки» ничего мне не дали,— с горечью писал он Е. Некрасовой,— ни копейки, так как я «настолько известен, что меня везде охотно примут», а вот публицистам и критикам некуда деваться, поэтому им выдали по 1000 и 600 рублей. Словом, если надо было мне получить наказание за что-нибудь, то я его получил, и положительно едва-едва дышу, не имея впереди ничего, кроме самой ужасной нужды».

Как видно из письма Салтыкова к Михайловскому от 11 мая 1884 года, Успенский, в конце концов, получил из редакции 300 рублей.

«Голодность» Г. Успенского даже в восьмидесятых годах была вопиющая. Ему приходилось занимать «на хлеб» по

10, по 5 рублей у приятелей. «Нет ли у Вас рублей 10? — пишет он, например, Я. В. Абрамову. — Я должен на-днях получить из «Русских ведомостей», может быть сегодня в 3 часа. Во всяком случае во вторник непременно получу. Если можно, не обременяя себя, ссудите мне, пожалуйста, эти рублишки и вручите их сему подателю». Абрамов писал о таких «записках» Успенского: «Их я теперь не могу читать без слез... Право, я не могу представить ничего более ужасного, как то обстоятельство, что в нашем отечестве даже такие люди, как Успенский, отмеченные печатью гениальности, носившие в себе драгоценнейший дар, который общество должно бы лелеять, охранять от всех жизненных невзгод, могут нуждаться буквально в куске хлеба»¹.

Издатели Успенского менялись, существо условий оставалось неизменным: везде он был в нужде. В 1883 году он печатал ряд фельетонов «В ожидании лучшего» в газете «Русский курьер», редактируемой либералом Гольцевым, — и прославленный писатель получал за фельетоны в 800 строк по 35 рублей, т. е. 4,5 копейки за строку. Так же шло дело с изданием книг Успенского: их попрежнему издавал «купец» и выжимал, что мог, из него; когда же Успенский попробовал еще раз обратиться к Лаврову, издателю «Русской мысли», получилось то же самое, а, может быть, и нечто худшее. Известная работа Успенского «Власть земли» вызвала к себе большую тягу читателя. Выпущенная «Русской мыслью» отдельным изданием, книга быстро разошлась. За тираж в 2400 экземпляров Успенский получил всего 300 рублей, т. е. по 18 рублей за печатный лист. Лавров почему-то не послал автору ни одного экземпляра его новой книги, что было «уж вполне глупо и невежливо», — по оценке самого Успенского. «Я, точно, был болен, и за это колотить человека, по малой мере, подло». Так не поступал и купец Базунов.

Давимый нуждой, Успенский, только что вступивший в третье десятилетие своего писательства, и сам, и через посредство знакомых искал издателя, который принял бы на себя издание первого собрания его сочинений, — и издатель не находился ни в Петербурге, ни в Москве.

¹ Чешихин-Ветринский, Глеб Успенский в его переписке, «Голос минувшего» 1915, № 10, стр. 225.

3

Таковы были и прежние, и новые мытарства литературного пролетария, в которые Успенский посвятил Гаршина во время их встречи перед тихвинским походом. Повесть, очевидно, была столь тяжела, Успенский был столь беспомощен и измучен, что на человека, тоже вовсе не практического, на Гаршина, она произвела столь сильное впечатление, что, ради Успенского, он захотел стать человеком практическим и ринуться на отстаивание интересов литературного чернорабочего. Из Тихвина Гаршин вернулся в Петербург 30 июня. Г. Успенский дал в прописку свой паспорт в Петербурге 2 июля: оба они были в один и тот же день в Петербурге, когда Гаршин послал свое первое деловое письмо Успенскому, — очевидно, последний так изверился в возможность добиться чего-либо путного у «работодателей», что сам махнул рукой на все, и предоставил Гаршину одному переведываться с «хозяевами».

Гаршин повел дело в спешном порядке: 30-го вернулся в Петербург, а уже 1-го пошел по издателям — и о первом результате хождения писал Успенскому 2 июля:

«Дорогой Глеб Иванович! Третьего дня мы с Мальшевым, наконец, добрались до Петербурга; вчера же я пошел к Павленкову и говорил с ним. Он *очень хочет*, повидимому, издавать Вас, но попросил *неделю* на обсуждение. В будущую пятницу даст решительный ответ; во всяком случае он даст вам более 1500 рублей и выговорит себе не бесконечность экземпляров, а тысяч 5—6. Мне очень хотелось бы, чтобы издавал именно он, а не кто-нибудь другой, но, если он не согласится, пойду к Карбасникову и ко всем чертям. Павленков взял *неделю* на обсуждение потому, что последнее время предпринял кучу изданий и теперь у него маловато средств. Но я все-таки надеюсь, что он согласится, и Вы получите за 3 тома рублей 2500—3000.

До свиданья. Искренно Ваш В. Гаршин»¹.

Первый шаг Гаршина был к Ф. Ф. Павленкову — издателю, неблагонадежному в глазах правительства, выпустившему дешевое издание сочинений Писарева и ряд популярных книг по естествознанию. Павленков не раз подвергался арестам,

¹ Печатается — как и все следующие письма Гаршина — впервые. Письма печатаются по новой орфографии, но с сохранением особенностей гаршинского правописания.

высылкам и суду. Женатый на сестре Писарева, он был организатором похорон знаменитого критика и инициатором подписки на стипендию его имени, в связи с чем был в 1868 году арестован и выслан под надзор полиции в Яранск, а потом в Вятку. Правожительство в Петербурге он получил лишь в 1881 году. У Павленкова была известность «идейного издателя», и этим объясняется, почему Гаршин пошел к нему к первому. Но желание помочь Успенскому было у Гаршина так велико, что он готов был идти и к тому самому Карбасникову, у которого Успенский некогда «выкупал» свои же сочинения. Павленков был аккуратен и ровно через неделю дал ответ, который Гаршин передал в письме к Успенскому от 10 июля:

«Дорогой Глеб Иванович! Мы поладили с Павленковым на следующих условиях: 1) он платит Вам по 30 рублей за «печатный» лист, т. е. за три тома 2250 руб., 2) 500 рублей Вы получаете при заключении условия, т. е. сейчас же. 500 рублей он выплачивает долгосрочным векселем на Псков. Остальные 1250 рублей уплачиваются ежемесячно суммами от 50 до 100 рублей в месяц. Павленков предлагает платить по 75 рублей в месяц, т. е. выплатить всю сумму в 16½ месяцев, 3) Павленков не решил еще, будет ли он издавать издание иллюстрированное или нет. В первом случае он выговаривает себе право издания 6000 экземпляров в два раза; во втором случае издает только 4000 экземпляров, 4) права и обязательства издавать следующие томы ваших сочинений он на себя не берет, ограничиваясь на первый раз только тремя томами, но не отказывается, если все будет благополучно, взяться и за следующие тома по взаимному соглашению.

Отвечайте на мое имя: когда вы приедете заключать условие, если вы согласны. Искренно вас любящий В. Гаршин».

Условия, на которых Павленков согласился издавать сочувственного ему писателя широкой известности, были таковы: общая сумма была меньше той, которую предполагал взять с издателя В. М. Гаршин: вместо 2500—3000 рублей, всего 2250, но, правда, больше той, на которую смел рассчитывать измученный Успенский (1500 рублей). Получение этой суммы растягивалось почти на 1½ года. Издатель принимал на себя обязанность издать лишь три тома, т. е. *избранные сочинения писателя*, а издание всего остального материала ставил в зависимость от «благополучия» первого опыта, т. е. если издание благополучно пройдет через цензуру и хорошо

пойдет в продаже. Тем не менее, Гаршин одержал, в глазах Успенского, несомненную победу. «Я устроил издание сочинений Глеба Ивановича,— писал Гаршин матери 14 июля в неизданном письме,— сторговался с Павленковым на условиях, довольно выгодных для Успенского. Вчера даже телеграмму от него получил,— пишет: «Очень, очень благодарю». Жаль было бы, чтобы его обобрали». Успенский не мог не радоваться, что вместо 18 рублей за лист, еще недавно уплаченных ему Лавровым, он получит почти вдвое больше, что ежемесячные выдачи будут все-таки превышать «жалованье», получаемое им в «Отечественных записках» (75 вместо 50 рублей) и пр. Успенский принял все условия Павленкова.

Осенью 1883 года Павленков выпустил первые три тома сочинений Успенского без рисунков. Они имели такой бесспорный и крупный успех, что к 1886 году Ф. Ф. Павленков выпустил целых восемь томов Успенского. Все они быстро разошлись. 13 ноября того же, 1886, года Успенский заключил договор с меценатом И. М. Сибиряковым, которому уступал авторские права уже за сумму в 19155 рублей. Сибиряков вошел в соглашение с тем же Павленковым, и сочинения Успенского вышли в 1888 году под фирмой Павленкова баснословно-дешевым изданием—3 рубля за два огромных тома всего в 1448 страниц. Из тиража в 10000 в две недели разошлось 3000, а меньше чем через год было выпущено второе издание и дополнительный том (740 страниц за 1 руб. 50 коп.). Все это свидетельствовало, какой прочный и широкий читатель-потребитель был у Успенского.

Выходило, что Гаршин нашел, наконец, Успенскому путь к более выгодному применению его труда. И, однако, жребий литературного пролетария мало изменился и после этой удачи. Правда, он мог расплатиться кое с какими старыми долгами¹, но вот что говорит его биограф о материальной стороне всех этих удачных изданий. «Дело было связано с весьма запутанными счетами Успенского с прежними издателями. Михайловский, принимавший участие в улажении их, никогда не мог как следует во всем разобраться. Произошло какое-то неясное недоразумение между автором, прежними издате-

¹ Трогательно письмо Успенского к историку литературы А. Н. Пытину. Посылая ему свой долг в 25 рублей, он пишет: «Идет 23-й год с тех пор, как я состою Вам должным вти 25 рублей. Почему я не возвратил их на протяжении такого огромного пространства времени? «Не мог!» Вот, что единственно могу сказать Вам по чистой совести. Сколько бы я ни зарабатывал — никогда я не имел возможности не увеличивать долгов,

лями Карбасниковым и Павленковым и Сибиряковым, купившим все произведения Успенского. Близко стоявшая к жене Успенского Починковская видит в этой истории даже поворотный момент к душевной болезни Глеба Ивановича. Успенский мучительно тяготился своей зависимостью и ссудами Сибирякова под статьи, предположенные к написанию. Благотворительный характер покупки сочинений и ссуды им остро чувствовались». Из 19 155 рублей, данных Сибиряковым за сочинения Успенского, автор получал на руки только 4 155 рублей. Остальные 15 000 были внесены в банк на условии, что Успенский имеет право пользоваться только процентами с них до своей смерти, после чего деньги переходят к наследникам. Таким образом покупка Сибирякова была род благотворительной опеки над писателем. Неудивительно, что он тяжело ее переносил!

Заработная плата его попрежнему была несоразмерна с трудом. Под конец жизни Успенский дождался только того, что ему стали благотворить меценаты, и он, ради семьи, не мог не принимать этих благотворений, выплачивая за них своим душевным здоровьем.

4

Изнывая от своих внутренних и житейских неурядиц, Успенский и Гаршин много сил отдавали разрешению неурядиц и дел своих близких из писательской среды. В устройении чужих дел Успенский оказывался, разумеется, еще беспомощнее, чем в устройстве своих собственных. Третье из дошедших до нас писем Гаршина к Успенскому¹ посвящено именно таким заботам о близких людях, в которые они оба вкладывали много сердечного участия.

«Дорогой Глеб Иванович, я получил от Сергея Николаевича через одну знакомую 60 рублей и письмо, в котором он просит меня передать как-нибудь эти деньги Людмиле Николаевне. Я не знаю, как послать ей эти деньги. Будьте добры, сообщите мне возможно скорее ее адрес (такой, по которому может дойти денежное письмо). А то, может быть, у вас найдутся 60 рублей и вы сочтете возможным дать

не только платить их». Возможность платить их пришла, по словам Успенского, только со времени павленковского издания.

¹ 2^{1/2} строки из этого письма напечатаны В. Е. Чешихиным-Ветринским в его биографии Успенского (М. 1929, стр. 166).

их Л. Н.? Тогда я пришлю 60 рублей вам (сообщите адрес для денег) или же сvezу их Александре Васильевне, как вам будет удобнее. Во всяком случае, прошу вас, не задержать ответ: я получил деньги еще вчера, а Л. Н., как я слышал, очень нуждается.

Мой адрес: Невский пр., д. 84, кв. 52. Впрочем, лучше пишите: Большая Московская, 6, в канцелярию Общего съезда жел. дорог, туда не так высоко подниматься почтальону.

Искренно ваш В. Гаршин».

8 октября [18]86 г.

Письмо это необыкновенно характерно и для Гаршина, и для Успенского.

«Сергей Николаевич», поручающий Гаршину передать деньги «Людмиле Николаевне», — это близкий приятель Успенского и знакомец Гаршина С. Н. Кривенко (1847—1906), публицист-народник, видный сотрудник «Отечественных записок». За два года перед тем (4 января 1884 года) он подвергся аресту, а в июле 1885 года был сослан в Вятскую губернию на три года. Эти арест и ссылка были тяжело пережиты Успенским, который жил в это время в одних меблированных комнатах с Кривенко. «Людмила Николаевна» — первая жена Кривенко¹. Зная чужую нужду, Гаршин спешит устроить порученное дело и понуждает к тому же Успенского. Но жену Кривенко он лично знает. Того же почтальона, о котором Гаршин так трогательно заботится в письме, он, конечно, не числит в числе своих знакомых, и однако, обсуждая, как лучше сделать спешное дело, он заранее обдумывает, как бы облегчить работу и тому безвестному труженику, который волей-неволей, по профессии, станет участником этого спешного дела. Черта, рисующая удивительное сердце, удивительную социальную совесть! Успенский, без сомнения, понял Гаршина и адресовал письмо туда, куда было «не так высоко подниматься почтальону». В своих воспоминаниях об Успенском В. Г. Короленко рассказал, как он скорбел и мучился, наблюдая обыкновеннейшее и никем не замечаемое явление:

¹ «Кривенко все еще сидит», — сообщает Салтыков Михайловскому 23 июля 1884 года, а 21 ноября того же года, через В. П. Гаевского, он ходатайствовал перед Литературным фондом: «Людмила Николаевна Кривенко находится в крайнем положении. И лично средства ее истощились, и, сверх того, болезнь дочери требует расходов. Будь так добр предложить комитету о выдаче ей пособия в количестве 200 — 300 рублей» (М. Е. Салтыков-Щедрин, Письма, стр. 270, 280).

как какой-нибудь жилец меблированных комнат зря, из-за пустяков, гоняет «человека» (коридорного) взад и вперед по лестнице. В этой заботе о тружениках, вседневный труд коих не обращал ничего внимания, Гаршин и Успенский сошлись, как и во многом другом. Гаршин, повидимому, вообще был частым и охочим исполнителем поручений не только Г. Успенского, но и его семьи. Он «тяготы носил» этой житейски неустроенной семьи, хотя и сам был обременен службой, писательством, болезнью.

Вот еще подобная деловая записка его к жене писателя, А. В. Успенской:

«Многоуважаемая Александра Васильевна, я опять без вины виноват перед вами. Я пошел на Знаменскую и в указанном доме не нашел Е. П.; обошел все дома до М. Итальянской и тоже не нашел. Из адресного дома мне дали справку «не значится». Что это значит? Уже не уехала ли она? Сообщаю вам это к сведению.

Искренно преданный В. Гаршин».

27-IV-87.

«Е. П.» — это, по указанию Б. Г. Успенского, некая Екатерина Павловна Ревякина, близкая знакомая семьи Успенских, имевшая большие знакомства в литературных кругах того времени. Гаршин был «послан» Успенскими отыскивать знакомую, при чем у них даже не имелось ее точного адреса, и Гаршин терпеливо искал ее «на-авось».

Другая записка Гаршина к А. В. Успенской, набросанная на его визитной карточке, полна глубокого смысла, несмотря на свою краткость и, повидимому, сухость:

«Алекса́ндре Васи́льевне Успенской.

Я видел Глеба Ивановича в Москве, если он не придет сегодня, в пятницу, то завтра в субботу».

Г. Успенский восьмидесятых годов, в своей мучительной отзывчивости на социальные недуги этого хмурого десятилетия, стоял почти всегда на границе нервного заболевания. Он в эти годы метался из края в край по всей России, погружаясь то тут, то там в народное море, выискивая зачатки лучшего будущего в тех или иных явлениях крестьянской и рабочей жизни, и потому часто бесследно «исчезал». И семья, и друзья Успенского знали, — что ежели он намеревался ехать в Сибирь к переселенцам, то мог очутиться в

как какой-нибудь жилец меблированных комнат зря, из-за пустяков, гоняет «человека» (коридорного) взад и вперед по лестнице. В этой заботе о тружениках, всedневный труд коих не обращал ничего внимания, Гаршин и Успенский сошлись, как и во многом другом. Гаршин, повидимому, вообще был частым и охочим исполнителем поручений не только Г. Успенского, но и его семьи. Он «тяготы носил» этой житейски неустроенной семьи, хотя и сам был обременен службой, писательством, болезнью.

Вот еще подобная деловая записка его к жене писателя, А. В. Успенской:

«Многоуважаемая Александра Васильевна, я опять без вины виноват перед вами. Я пошел на Знаменскую и в указанном доме не нашел Е. П.; обошел все дома до М. Итальянской и тоже не нашел. Из адресного дома мне дали справку «не значится». Что это значит? Уже не уехала ли она? Сообщаю вам это к сведению.

Искренно преданный В. Гаршин».

27-IV-87.

«Е. П.» — это, по указанию Б. Г. Успенского, некая Екатерина Павловна Ревякина, близкая знакомая семьи Успенских, имевшая большие знакомства в литературных кругах того времени. Гаршин был «послан» Успенскими отыскивать знакомую, при чем у них даже не имелось ее точного адреса, и Гаршин терпеливо искал ее «на-авось».

Другая записка Гаршина к А. В. Успенской, набросанная на его визитной карточке, полна глубокого смысла, несмотря на свою краткость и, повидимому, сухость:

«Алекса́ндре Васи́льевне Успенской.

Я видел Глеба Ивановича в Москве, если он не придет сегодня, в пятницу, то завтра в субботу».

Г. Успенский восьмидесятых годов, в своей мучительной отзывчивости на социальные недуги этого хмурого десятилетия, стоял почти всегда на границе нервного заболевания. Он в эти годы метался из края в край по всей России, погружаясь то тут, то там в народное море, выискивая зачатки лучшего будущего в тех или иных явлениях крестьянской и рабочей жизни, и потому часто бесследно «исчезал». И семья, и друзья Успенского знали, — что ежели он намеревался ехать в Сибирь к переселенцам, то мог очутиться в

Болгарии, у придунайских староверов-общинников; ежели его ждали в Москву, то он мог появиться на какой-нибудь «проселочной реке» или где-нибудь «на задворках фабрики». Семья и друзья испытывали всегда тревогу, когда Успенский пропадал: боязнь, что его могут где-нибудь арестовать, как нескромного наблюдателя печальных дел и безделий русской действительности, или что он может нервно заболеть на пути, заставляли их «искать» Глеба Ивановича и собирать вести о нем. Вот гаршинская записка и есть одна из таких вестей. Гаршин спешит ею успокоить жену писателя.

Последняя из сохранившихся записок Гаршина к Успенскому тоже выражает заботу о нем, но иного характера:

«20 января 1887 г.

Дорогой Глеб Иванович, если хотите послушать «Коготок увязнет — всей птичке пропасть» Льва Толстого, то благоволите доставить свою особу завтра, в среду 21 января 1887 года, на Невский, д. 84, кв. 52 (дом Юсупова), в квартиру Вс. Мих. Гаршина.

Искренно Ваш В. Гаршин»¹.

Это — приглашение автора «Власти земли» на чтение «Власти тьмы».

«Власть тьмы» была написана осенью 1886 года.

«В ноябре, — рассказывает С. А. Толстая, — Лев Николаевич, окончив свою драму, отдал ее в набор в сочувственной ему фирме «Посредник», мечтая в то же время отдать ее для постановки в народном театре. Но драма была запрещена цензурой и для театра, и для печати. Это не помешало ей сделаться широко известной. Скоро распространились ее списки. «Власть тьмы» читали всюду по рукописи». Это «всюду» совершенно точно. В самой Ясной Поляне пьесу читали крестьянам. Ее читали в писательских и интеллигентских кругах в столицах и провинции. А. А. Стахович «читал «Власть тьмы» при великих князьях и, наконец, при Александре III»². Приговор цензуры был отменен этим всеобщим чтением. В 1887 году «Власть тьмы» была, наконец, разрешена к печати в дешевом народном издании «Посредника». Запрет играть ее на сцене продержался дольше, до 1895 года.

¹ Настоящее название драмы Толстого: «Власть тьмы», или «Коготок увяз — всей птичке пропасть».

² «Толстовский ежегодник» 1912, М., стр. 18—19.

Гаршин и зазывал Успенского на одно из таких нелегальных чтений запрещенной пьесы. Для Успенского, давнего знатока деревни, драма Толстого представляла исключительный интерес: за четыре года перед тем он объединил свои наблюдения над крестьянством в очерках, озаглавленных «Власть земли»; теперь предстояло ему услышать свод наблюдений над той же жизнью другого писателя, под названием, близким по форме, но противоположным по смыслу. К сожалению, у нас нет сведений, был ли Успенский на чтении у Гаршина и какие впечатления вынес он от драмы Толстого.

Немногие записки Гаршина к Успенскому и прекрасная статья Успенского «Смерть Гаршина»¹ — единственный письменный след их отношений. Записки кратки и деловиты, статья писана с сердечной мукой, — но они хорошо дополняют друг друга: и то, и другое свидетельствует о глубокой приязни и теплом сочувствии двух писателей, тяжело переживавших хмурые восьмидесятые годы и одинаково ушедших от их тоски — в безумие и смерть.

IV

Гаршин накануне смерти

Ранним утром 19 марта 1888 года Гаршин бросился в пролет лестницы дома, где жил, и, изувеченный, скончался в больнице 24 марта.

Что переживал он в дни, предшествовавшие этому ужасному утру?

Ужасную гнетущую тоску. В этом сходятся все мемуаристы, все биографы. Довольно привести свидетельство М. М. Латкиной: «Ужасны были последние дни его сознательной жизни».

¹ Г. И. Успенский замыслил не одну, а две статьи на смерть Гаршина: «Относительно сборника Гаршина, — писал он А. М. Евреиновой, — я уже ответил Я. В. Абрамову и статью дам, непременно дам (курсив самого Успенского), только надобно знать число. Сию же минуту я сижу над статьей о Гаршине для «Русских ведомостей», — спешу и работа многосложная. Пытаюсь по возможности подробно выследить причину этой загадочной смерти. Хочу написать о нем без всяких фраз и запоздалых признаний в любви. Есть у меня и личные воспоминания в один момент, знаменательный для того, чтобы понять качество нервного расстройства Гаршина» (Чешинский-Ветринский, Г. Успенский в его переписке, «Голос минувшего» 1915, № 10, стр. 213—214). К сожалению, Успенский не написал второй статьи о Гаршине и в сборнике «Памяти Гаршина» перепечатал статью из «Русских ведомостей».

Он метался в бессильной тоске и молил о помощи жену, друзей, всех, указывая на какую-то призрачную боль то в голове, то в сердце, и не умел ее ни назвать, ни определить. Друзья надеялись еще спасти его, перенесли в другую обстановку, среди картин дикой и величественной природы. Но он не верил; в его душе не осталось ни одной искорки надежды¹.

Давно уже у биографов Гаршина есть возможность составить довольно полный список его скорбей и печалей, которые к роковому утру 19 марта слились в одно неизбежное отчаяние. В перечне этих малых и больших скорбей первое решающее место занимает гнетущее ожидание грозно возвращающегося психического недуга, о котором пишет М. М. Латкина. С этим ожиданием связывают гибель Гаршина и люди, мало его знавшие, но внимательные к нему (так, его сослуживец А. Васильев вспоминал его слова: «Если бы не жена, которую я так люблю, то я давно бы покончил с собою»², и близкие его друзья: «Он чувствовал приближение безумия, не выдержал страшного ожидания и накануне назначенного отъезда... в припадке безумной тоски... бросился с лестницы»³).

«Одно свойство или черта характера наблюдалась всегда у Всеволода Михайловича даже в светлые промежутки его болезни,— пишет в письме ко мне Н. М. Гаршина (длвшиеся иногда у него до нескольких лет): посреди, казалось бы, ровного, хорошего и веселого даже настроения. Он здоров, оживленно работает (любил переплетное дело), обрезает книги,— и вдруг говорит мне: — «Запиши стихи», и диктует одну из глубоко-мрачных своих вещей: «Свеча погасла».

Свеча погасла, и фитиль дымящий,
Зловонный чад обильно разносший,
Во мраке красной точкою горит.
В моей душе погасло пламя жизни,
И только искра горькой укоризны
Своей судьбе дымится и чадит.
И реет душный чад воспоминаний
Над головою, полной упований
В дни лучшие на настоящий миг.
И что обманут я мечтой своею,
Что я уже напрасно в мире тлею,
Я только в этот скорбный миг постиг.

Эта аллегория — последняя творческая вещь Всеволода Михайловича. Был май 1887 года, записав тогда это стихотво-

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 144.

² Сочинения Гаршина, 1910, стр. 65.

³ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 122.

рение, слегка коснувшись его мрачности, я спросила, почему пришло это ему в голову.

Он ответил, что перед ним вдруг пронеслась картина безумия, а это ведь равносильно тому, что жизнь духа погасла, как «свеча погасла», а жизнь тела без животворящего духа — это «фитиль дымящий, зловонный чад обильно разносящий»... Во мраке тоски ужасная болезнь злом горит как красный цветок. «В моей душе погасло пламя жизни, и реет душный чад воспоминаний» — ужасающие картины и проделки безумия, о которых хорошо помнится, реют именно душным чадом.

«И что обманут я мечтой своею, что я уже напрасно в мире тлею». — Предчувствие, что обманываешься мечтой в том, что безумие не повторится; какая-то змея болезненного сомнения заползает в душу.

Но этот день в мае 1887 года не был еще для него тем «скорбным мигом», а, напротив, он был тогда еще жизнерадостен. Зачем останавливаться над мрачным, куда можно еще отогнать этот ужас?

И он был здоров и жизнерадостен еще больше месяца. А в июле — у него уже вполне развилось депрессивное состояние, т. е. угнетение, все представлялось ему в грустном мрачном свете; припадки предсердечной тоски; плохо спал; курить уже не мог (постоянный признак заболевания); ничего работать не мог, даже переплетать; вскоре отказался от службы; писать также ничего не мог. Душевное состояние его все ухудшалось».

Многое действовало и влияло на это «ухудшение».

Уже первый биограф Гаршина Я. В. Абрамов называл еще и ряд других «неприятностей», которых «выпало на его долю в эту зиму весьма не мало»¹.

Он остался без службы: когда, после продолжительного отсутствия по болезни, он явился на занятия, «временно заменявший его господин встретил его крайне грубо и заявил ему, что он, соглашаясь заменять Всеволода Михайловича, рассчитывал занять его место навсегда. Грубая выходка заместителя Всеволода Михайловича так подействовала на него, что он немедленно объявил об оставлении им места секретаря. С этого времени к числу давивших Всеволода Михайловича мыслей присоединились еще мысли о том, что ему нечем будет жить, что теперь он ни к чему не годен и что он вынужден будет обременять свою жену заботами о его содержании. Еще

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 62.

более болезненно действовали на Всеволода Михайловича разные неприятные истории, совершавшиеся в это время в литературном мире. Всеволод Михайлович всегда крайне скорбел перед раздорами, вызываемыми сплошь да рядом чисто личными отношениями. В зиму 1887/88 года было особенно много таких печальных явлений, и они крайне болезненно отзывались на впечатлительной натуре Всеволода Михайловича¹. Много неприятностей доставляли Гаршину одолевавшие его «начинающие писатели»; он выслушивал их всех, не умея отказать никому, но высказываемая им правда об их писаниях вызывала их не раз на дерзости больному писателю. Еще Я. Абрамов не мог не упомянуть, не называя его, об одном таком «пером владеемом» посетителе, который, выслушав настойчиво вызванный им самим же суд Гаршина над своим убогим детищем, наговорил ему «самых невозможных дерзостей, чем расстроил несчастного Всеволода Михайловича до последней степени болезненности»². Теперь не секрет, что это был Анатолий Леман; его назойливость носила характер какого-то преследования Гаршина. «Последние дни перед утром 19 марта,—вспоминает И. Ясинский,—Гаршину портил нервы Анатолий Леман—приходил и зачитывал своими рассказами». Ясинский вспоминает, что незадолго до смерти Гаршин проводил у него вечер. «Вдруг вошел Леман и прямо направился к Гаршину, у которого лицо передернулось, словно он увидел нечто ужасное и необычное. Гаршин тотчас ушел». Леман бросился за ушедшим. Он был кошмарен для Гаршина своей самовлюбленностью, самоуверенностью, авторитарностью. Когда в самый канун самоубийства Ясинский встретил на улице изнывавшего в смертной тоске Гаршина и рассказал об этом у себя дома, «Леман, ждавший его прихода, повернулся и устремился к нему»³.

Были горькие встречи, терзавшие Гаршина в эти предсмертные недели.

¹ Раздоры эти преследовали Гаршина и за гробом. Литераторы не могли объединиться даже в деле почтения памяти Гаршина и вместо одного явилось два, враждебных друг другу, сборника «Памяти Гаршина» (Спб. 1889), возглавляемый Плещесвым, Салтыковым и др., и «Красной цветок» (Спб. 1899), возглавляемый Альбовым, Баранцевичем и др. А. П. Чехов писал по этому поводу Щеглову-Леонтьеву (4 апреля 1888 года): «Баранцевич и К^о столкнулись нос к носу с Евреиновой и К^о в одном и том же деле (памятник Гаршину) и, точно испугавшись конкуренции, обладили друг друга «лже-либералами»».

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 63.

³ И. Ясинский, Роман моей жизни, стр. 235.

В январе 1888 года, проходя ночью по Невскому проспекту, Гаршин увидел, как дворники и полицейские тащили в участок девушку, заподозренную в проституции. Гаршин вступился за нее, привлек к делу свидетелей и принес жалобу на жестокое обращение полиции, но и сам Гаршин был привлечен к суду за «нарушение общественной тишины и порядка». Мировой судья оправдал его и, замечает Я. В. Абрамов, «в то время как другие участники дела не могли иначе, как с глубокой злобой говорить об агенте, арестовавшем несчастную девушку, о дворниках, тащивших ее, и о полицейском, грубо встретившем протестантов, явившихся в участок заступиться за арестованную, Всеволод Михайлович относился ко всем этим лицам без малейшей злобы, указывал на то, что корень зла не в этих исполнителях медико-полицейского надзора, а в самом этом надзоре, в тех условиях жизни, которые создали и поддерживают этот надзор. И таков Всеволод Михайлович был всегда и во всем. Он ненавидел зло, но любил людей, он боролся со злом, но щадил людей»¹.

Абрамов привел только одну из таких, сокрушительных для душевного здоровья Гаршина встреч с «царюющим злом». В действительности, их было множество.

Каждая из подобных встреч,— а это была просто встреча с жизненной повседневностью,— вливала новую и новую каплю горечи и смерти в хрупкий и драгоценный сосуд совести, называвшийся Всеволодом Гаршиным.

Но была и еще одна причина гаршинского угнетения в предсмертные дни, недели, месяцы, едва ли не столь же веская, как ужас перед надвигающейся болезнью. О ней Абрамов и один-два мемуариста из числа самых близких могли лишь глухо намекнуть. Однако они и в самом намеке своем не могли не поставить в связь именно с этой причиной самое «начало болезни» в Гаршине, самый страх его перед нею, который сам по себе был ее симптомом.

В начале лета 1887 года Гаршин был здоров. Он был полон творческих планов (роман «Петр I», фантастический рассказ о науке и др.), мечтал о поездке в Англию или на юг. «Его отличное расположение духа,— вспоминает В. А. Фаусек,— порождало и во мне надежду, что на этот раз, может быть, он останется здоровым и на лето. И действительно, его болезнь долго не приходила». Письмо Гаршина от 15 июня было богато творческими замыслами, и еще более подтвер-

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 63.

дило надежды на благополучный исход лета для Всеволода Михайловича¹. По словам В. Бибикова, съездив в апреле в Киев, Всеволод Михайлович «возвратился в мае освеженный, здоровый, похорошевший»². Абрамов обобщает и свои, и чужие наблюдения, когда пишет: «В половине июня Всеволод Михайлович был еще вполне здоров и строил разные планы... Но «бес» (так называл Гаршин свою болезнь. С. Д.) пришел, когда его всего менее ожидали, и уже не оставлял Всеволода Михайловича до самой смерти. На этот раз,— глухо поясняет Абрамов,— кроме внутренней причины, действовали внешние причины. На Всеволода Михайловича обрушился ряд неприятностей, приведших к полному разрыву с близкими ему людьми»³. Первоначально у Гаршина была еще надежда, что эта семейная история не накличет на него болезни. «Начало лета 1887 года (май и июнь),— вспоминает М. Е. Мальшев,— он был здоров и бодр и, приехав ко мне на дачу, рассказывая мне об одном чрезвычайно неприятном семейном деле, радовался, что оно, несмотря на всю свою серьезность, не вызвало прежних припадков хандры, тогда как раньше малейшего пустого повода было достаточно, чтобы вызвать полный упадок духа. «Обыкновенный срок моего заболевания уже прошел и, несмотря на это ужасное, отвратительное письмо и на прочие гадости, я здоров. Слава богу, значит на этот год я останусь цел. Ты не поверишь, Мишуной (так часто называл меня Всеволод Михайлович), как я рад этому»,— говорил Гаршин». Перечитаем сейчас же одну фразу из этих признаний самого Гаршина: «несмотря на это ужасное, отвратительное письмо и прочие гадости, я здоров»: значит, пережитого в этой семейной истории до начала июля сам Гаршин считал уже совершенно достаточным для того, чтоб равновесие разрушилось: признание исключительной важности. Не менее ценно и заключение Мальшева: «Этим надеждам, к несчастью, не суждено было оправдаться, и в июле он заболел».

С большим литературным тактом Мальшев пишет тотчас же после этого заключения: «Особенную нежность и заботливость проявлял Всеволод Михайлович к своей жене. Не было супругов нежнее их, так что у нас ребяташки даже посмеивались над этою взаимною нежностью. Не раз он

¹ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 115—116.

² Сочинения Гаршина, 1910, стр. 73.

³ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 61; курсив мой.

говаривал мне, что не хочет еще умирать, что он хотел бы, чтобы его Надя была сначала обеспечена, и, когда его книжки стали давать доход, он искренно радовался, что на случай его смерти у жены его кое-что останется, да и в деле издания своих сочинений он уверен был только в жене; он знал, что она, зная его взгляды и любя его, не захочет его именем эксплуатировать публику, что всегда страшно его возмущало¹. К несчастью, эти надежды покойного не оправдались: он не успел написать законного (курсив М. Е. Мальшева. С. Д.) духовного завещания и формально передать жене право издания своих сочинений»².

Смысл помещения этого приветственно-благодарного, интимного отрывка о жене писателя (не забудем, что это писалось 15 июля 1888 года, а читателями было прочтено всего через год после смерти Гаршина) сейчас же вслед за известием о «семейной истории», сокрушившей душевное здоровье Гаршина,—ясен: старый друг Гаршина хотел, чтоб и *тень* вины за эту «семейную историю» не могла пасть на вдову писателя. «В ускорении предсмертной болезни Гаршина повинны его семейные, но не его жена»,—вот как должен был читатель отрубить, но верно понять ответственное сообщение друга Гаршина. Схож и ясен смысл упоминания и о завещании Гаршина: «надежны руки»—только его вдовы; читателю легко было сделать вывод, что теперь, вследствие отсутствия юридически-правильного завещания в ее пользу, судьба сочинений писателя находится в мало надежных руках других его семейных.

Совершенно сходные сведения счит нужным дать читателю и Фаусек: «Он (Гаршин) хотел до отъезда (на Кавказ) написать духовное завещание; зная его отношения с родными (по смыслу предыдущего изложения, «родные» здесь противопоставлены «жене». С. Д.), я одобрил его намерение, и старался в то же время, чтобы он не придавал этому значения каких-либо мрачных опасений, а смотрел как на обеспечение против какой-либо несчастной случайности»³.

¹ Еще одна черта близости Гаршина с Толстым восьмидесятых годов: оба отрицали право наследников писателя на материальное, собственническое использование его сочинений, и оба добивались того, чтобы их сочинения были достоянием всего общества, а не наследников юридических.

² Сб. «Памяти Гаршина», стр. 129. Известно, что свою долю прав собственности на сочинения В. М. Гаршина его вдова, Надежда Михайловна, безвозмездно передала Литературному фонду.

³ Сб. «Памяти Гаршина», стр. 121.

Таким образом первые, самые близкие к Гаршину мемуаристы и писавший по живому следу первый биограф-мемуарист, зная всю щекотливость темы, не признали все-таки возможным умолчать о двух вещах в истории предсмертных месяцев Гаршина: во-первых, о том, что какая-то «семейная история» грубо выбила его из колеи здоровья и творческого труда, и, во-вторых, о том, что в этой истории неповинна его жена, Надежда Михайловна, урожденная Золотилова.

Позднейшие мемуаристы и биографы, сколько мне известно, в течение сорока лет не прибавили ни слова к уяснению этого эпизода в предсмертных «трудах и днях» Гаршина.

В декабре 1906 года Илья Ефимович Репин написал, по моей просьбе, свои «Воспоминания о Гаршине». Они вошли в мою книжку «Репин и Гаршин»¹. Воспоминания оканчиваются описанием последней встречи Репина с Гаршиным (стр. 67—68 книжки «Репин и Гаршин»). Но рассказ Репина я напечатал там, при жизни Ильи Ефимовича, не полностью: я исключил из него все, относившееся к «семейной истории» Гаршина, так как был еще в живых Евгений Михайлович Гаршин (1896—1931). Я привожу теперь целиком этот рассказ Репина, — человека, связанного с Гаршиным взаимной любовью и пониманием, и художника, которого так высоко ценил Гаршин и которому мы обязаны сохранением внешнего облика писателя в ряде замечательных композиций.

«Накануне смерти² я встретил его на улице очень расстроенным, страшно бледным и нервно-возбужденным. Я заговорил о новой вещи Короленки, но вдруг замечаю, что у Всеволода Михайловича слезы на глазах.

— Что такое? Что с вами, дорогой Всеволод Михайлович?

¹ См. выше. Пышляя мне свои «Воспоминания», И. Е. Репин писал мне 26 декабря 1906 года из Куоккалы: «Прошу вас, если это пригодится для вашей книги, напечатать с посвящением сверху: «Посвящается Владимиру Григорьевичу Черткову». Исполняя эту волю И. Е. Репина во фрагментах моей книги, и не сверху, а снизу, — обращаю внимание на этот характерный штрих: воспоминания о Гаршине Репин посвящает Черткову. Он хорошо знал и работал с ними обоими и в его сознании эти два имени связуются дружбой и близостью. Чертков — не случайный добрый «встречник» в жизни Гаршина, а один из близких к нему людей в последние годы жизни. Печатаю здесь и post scriptum письма Репина ко мне: «Писем ко мне Вс[еволода] М[ихайловича] не нашлось; да и не помню, переписывался ли я с ним».

² Надежда Михайловна Гаршина указала мне, что встреча И. Е. Репина с В. М. Гаршиным не могла состояться накануне покушения на самоубийство (а не «накануне смерти», так как искалеченный Гаршин жил еще несколько дней в больнице): в этот день Всеволод Михайлович

— Ах, это невозможно! Этого нельзя перенести!.. Знаете ли, я всего больше боюсь слабоумия. И если бы нашелся друг с характером, который бы покончил со мною из жалости, когда я потеряю рассудок! Ничего не могу делать, ни о чем думать,—это была бы неоценимая услуга друга мне...

— Скажите, что причиной? просто расстроенные нервы? Вы бы отдохнули. Уехать бы вам куда-нибудь отдохнуть.

— Да, это складывается; вот я даже и теперь закупаю вещи для дороги. Мы едем с Надей в Кисловодск. Николай Александрович Ярошенко дает нам свою дачу, и мы с Надеждой Михайловной едем на-днях.

— Вот и превосходно. Что же вы так расстроены? Прекрасно, укатите на юг, на Кавказ.

— Да, но если бы вы знали... С таким... с таким... в таком... (слезы) состоянии души нигде нельзя найти спокойствия (слезы градом; на улице даже неловко становилось).

— Пойдемте потихоньку,—успокаиваю я, беру его под руку,—расскажите, ради бога, вам будет легче...¹.

— Ах, боже... с мамашей я имел объяснение вчера... нет, не могу... Ах, как тяжело... И говорить об этом... неловко...

— А Вера Михайловна все еще у вас гостит?

— Да вот все из-за нее. С тех пор как она тогда ночью приехала к нам, брат Женя и не подумал побывать у нас, помириться, наконец, как-нибудь устроиться: ведь она же — его жена, которую он так обожал до брака и так желал; и особенно мамаша. Ведь мамаша души не чаяла в Верочке. Плакалась день и ночь, что родным двум братьям нельзя жениться на родных сестрах... Если бы вы знали, каких хлопот нам это стоило, и Евгению Михайловичу, и мне, и Надежде Михайловне. Особенно Надежде Михайловне. Знаете ведь, она с характером: за что возьмется, так уж добьется. И вот, с того самого момента, как Верочка переехала жить к Жене с мамашей — мамаша ее вдруг возненавидела; да ведь как! И представьте, прошло уже три недели... Евгений Михайлович ведь не мальчик, мог бы и отдельно устроиться... Наконец, Надежда Михайловна не вытерпела: жаль стало сестру. Поехала объясняться... Ах, как это невыносимо!.. Мамаша так оскорбила Надежду Михайловну, что я вчера

ездил с Надеждой Михайловной в психиатрическую больницу Фрея, желая поступить туда на время, но врач отговорил его, советуя, как и все, уехать на юг. Впрочем, в дальнейшем течении рассказа и сам Репин верно обозначает время своей встречи: «за два дня до катастрофы».

¹ Доселе рассказ был напечатан в мой книжке.

пошел объясниться... Может быть, Наде показалось... И — о, боже!.. что вышло... (слезы захлестнули его: он не мог говорить).

— Ну, что же, ведь ваша же мамаша: что-нибудь сгоряча.

— Да ведь она меня прокл...

Гаршин плакал, я его поддерживал.

— И, знаете ли, это еще я перенесу; я даже не сержусь... но она оскорбила Надежду Михайловну таким словом, которого я не перенесу...

Дня через два произошла известная катастрофа.

Я никак не мог себе представить такую злою мать Гаршина. Небольшого росту, полная, добрая старушка малороссиянка... Что и почему так вышло?»

На последний вопрос И. Е. Репина должен ответить будущий биограф Гаршина, которому будет доступен семейный архив Гаршиных. Я же ограничусь лишь немногими пояснениями к рассказу Репина.

В. М. Гаршин 11 февраля 1883 года женился на Надежде Михайловне Золотиловой. По «канонам» православной церкви, два брата не могут быть женаты на двух родных сестрах. Подобный брак в царской России мог быть заключен лишь с обходом закона: либо с утаением степени родственных отношений, либо с венчанием где-нибудь в отдаленной местности, где семейные отношения брачующихся не известны, либо, наконец, с прямым подкупом духовенства, что стоило очень дорого, так как священник, совершивший подобный брак, подлежал большим карам. Все эти способы венчания представляли крупный риск как для брачующихся, так и для свидетелей: брак мог быть расторгнут, а участники понести наказание.

Младший брат Гаршина, Евгений Михайлович, критик и педагог, полюбил младшую сестру жены Всеволода Михайловича, Веру Михайловну Золотилу (1862—1920) и был повенчан с нею. Из слов Всеволода Михайловича Репину видно, какое близкое участие принимали В. М. и Н. М. Гаршины в осуществлении этого брака, и нужно только представить себе прямую натуру Всеволода Михайловича, чтобы понять, как нелегко было ему участвовать в процедуре лжи и обмана, через которую в старой России неизбежно должен был пройти всякий, кто помогал в устройстве такого брака. Все эти усилия, нелегкие для Всеволода Михайловича, оказались, в конце концов, напрасны: брак был несчастлив, и очень скоро Вера Михайловна оставила мужа и ушла жить к сестре.

По моей просьбе В. М. Золотилова в 1907 году написала небольшие воспоминания о В. М. Гаршине. Вот извлечение из них, нужное для понимания рассказа И. Е. Репина:

«Я ушла от свекрови 19 марта 1887 года. Всеволод Михайлович одобрял мой уход. 20-го или 22-го он уехал с А. Я. Гердом и его дочерью в Крым, где чувствовал себя очень хорошо. Вернулся он, кажется, через месяц, очень оживленный, здоровый. Я каждый день обедала у них и проводила вечера. 4 мая я уехала в деревню. Помню, что он очень весело прощался со мною (шутливые советы, пожелания). Он так хорошо чувствовал себя в начале лета, что сестра хотела приехать к нам в деревню; но вместо нее мы получили ее письмо, где она рассказывала о его состоянии. Это лето было самое тяжелое для них.

Летом получил он от матери письмо, которое его очень расстроило. Он не бывал у матери. Она негодовала, всячески старалась отдалить его от нас. В средствах она никогда не стеснялась. Также она никогда не могла примириться и простить то, что он с любовью и сожалением вспоминал об отце в своем рассказе «Ночь». Ведь любовь и сожаление были порицанием ей¹.

Из деревни я вернулась в конце октября и поселилась у них по его желанию. 2 ноября родилась моя Наташа. Детей у них не было; вообще ему не приходилось близко видеть маленьких детей. Первое время после рожденья он очень интересовался девочкой. Как-то Бибиков продекламировал:

И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.

Мы прочли кормилице «Сказку о царе Салтане». Кормилица была славная; как она горевала о Всеволоде Михайловиче! Так и росла девочка, славная такая, умница, до 16 лет, а там заболела периодическим помешательством, как и он.

Раза два, когда мы сидели в столовой, он приносил ее и клал на кушетку к стене, уверяя, что она любит розовые

¹ Е. С. Гаршина оставила мужа для другого человека. М. Е. Гаршин тяжело переносил уход жены. Враждебные чувства Е. С. Гаршиной к рассказу «Ночь» подтверждает в своем письме ко мне от 16 декабря 1932 года и Н. М. Гаршина: Е. С. Гаршина укоряла, даже «проклинала» своего сына «за то, что он осмелелся в рассказе «Ночь» с любовью вспоминать об отце своем, что ему хотелось приласкаться к этому «несчастному, одинокому, покинутому человеку».

обои в этой комнате (ей не было четырех месяцев, когда он умер), носил ее на руках, держа в конвертике в стоячем положении — «надоест ведь все лежать!»; даже раз пытался купать, но не вышло. Настроение его с лета до самой смерти было угнетенное; но по временам он оживлялся. Хорошо помню, как он читал нам «Степь» Чехова.

Я должна была 22 марта уехать в Орел на службу, — сдав квартиру и вещи. Они решили 20-го ехать на Кавказ. 19-го он бросился с лестницы.

К несчастью, дочь моя унаследовала его душевную болезнь. Оправившись от болезни, и Всеволод Михайлович и его несчастная племянница не утрачивали ничего из присущих им свойств и способностей»¹.

Резко-враждебное отношение Е. С. Гаршиной к жене Всеволода Михайловича доходило иной раз до прямой клеветы на нее, распространяемой среди родных и знакомых. «Промать Гаршиных, — говорит сама Н. М. Гаршина в письме ко мне, — неверно было бы сказать, что она злая женщина, точнее — что она была злобная женщина и психически ненормальная: лживая, властная, ревнивая; но была образованная, знала музыку, не лишена ума, сама чуть что не писала»².

Нерасположение свое к жене Всеволода Михайловича Е. С. Гаршина не могла скрыть даже в печати, вскоре после смерти писателя. В 1895 году, печатая в консервативном «Русском обозрении» письма к ней Всеволода Михайловича с войны, она не удержалась от попытки связать чуть ли не все бедствия дальнейшей жизни Гаршина с его встречей с Н. М. Золотиловой: «Счастье мое» было слишком коротко. В ноябре 1877 года Всеволод уехал в Петербург, но на этот раз скоро вернулся ко мне и к Р[аисе Всеволодовне Александровой, к девушке, к которой, по словам Е. С. Гаршиной, В. М. питал любовь, «длившуюся целые годы; смотрели на них, как на помолвленных». С. Д.]. В мае 1878 года его за

¹ Наталья Евгеньевна Гаршина умерла в 1930 году.

² Екатерина Степановна Гаршина (урожд. Акимова, 1828—1897) «много читала, хорошо знала русскую легкую литературу, писала занимательные письма, могла переводить с французского», давала уроки и в шестидесятих годах имела связи с общественными и революционными деятелями (В. П. Соколов, Гаршины, «Исторический вестник» 1916, кн. 4).

³ Е. С. Гаршина разумеет возвращение Всеволода Михайловича с войны, выздоровление от раны, пребывание в родной семье, блестящий успех «Четырех дней», помещенных в «Отечественных записках» 1877, № 10.

отличие произвели в офицеры. Пока все еще шло хорошо; он был весел и работал. Но осенью в Петербурге либеральные друзья уговорили его лечь в госпиталь и добиваться отставки. Тогда еще в Николаевском госпитале слушали лекции медицинские студентки... Не буду распространяться...»¹.

Два эти многоточия матери Гаршина имеют в виду знакомство ее сына с «медицинской студенткой» Н. М. Золотиловой и любовь его к ней, завершившуюся в 1883 году браком. Пока не было этой встречи, до тех только пор, по мнению Е. С. Гаршиной, «все еще шло хорошо» в жизни ее сына.

Рассказ И. Е. Репина, беспристрастный к обеим сторонам и полный любви к самому Гаршину, представляется мне очень важным для биографа: только из него узнаем мы еще об одном, великом и совсем уже предсмертном огорчении многострадального писателя, — огорчении, которому, быть может, и суждено было стать последней каплей, переполнившей чашу его жизни, до краев полную неизбывного страдания.

В письме ко мне (1932) Н. М. Гаршина сообщает о последней попытке Всеволода Михайловича спастись от недуга, грозящего гибелью:

«После некоторого улучшения вдруг душевное состояние Всеволода Михайловича неожиданно и быстро ухудшилось. 18 марта Всеволод Михайлович и я поехали к доктору Фрею, прося его принять Всеволода Михайловича в больницу, но он решительно отклонил это, сказав, что это теперь покуда не нужно, так как Всеволод Михайлович был вполне сознателен и разумен, хотя очень удручен и взволнован. Фрей посоветовал немедленно — через день же — ехать на Кавказ, куда мы и так уже собирались. А на другой день — рано утром — Всеволод Михайлович кинулся с лестницы, сломал себе ногу (обе кости голени), целый день был в полном сознании, но вечером из-за ноги — его пришлось поместить в больницу, где ночью он впал уже в коматозное состояние и, не выходя из него, на пятый день скончался.

Через 20 лет я узнала от ассистентки Фрея, что доктор Фрей высказал тогда ей опасение, что Всеволод Михайлович покончит самоубийством. А в больницу к себе не принял!»

С. Дурыллин.

¹ «Русское обозрение» 1895, № 2, стр. 482.